

Элли Ван Хаутен

ТРЕЩИНЫ В РАЮ



Элли Ван Хаутен
Трещины в Раю

«Автор»

2026

Ван Хаутен Э.

Трещины в Раю / Э. Ван Хаутен — «Автор», 2026

Каждое утро Элис проверяет, разрешено ли ей прожить ещё один день. Прибор скользит по коже. На экране появляется слово «Чисто». Только тогда можно одеться, проверить завтрак и выйти за дверь. Мегаполис принадлежит Совету. Здесь камеры узнают лица, нейросети слушают разговоры, а заболевших раком увозят в неизвестность. Больше трёх лет назад так исчезли муж Элис и её маленький сын. Теперь она служит личным врачом влиятельной семьи и желает здоровья людям, которым обязана своим страхом. Когда молодая прачка Лили оказывается беременна без назначенного мужа, Элис решается на маленькую ложь в медицинской карте. Но в городе, где забота умеет запирает двери, попытка спасти одну женщину приводит её к тайне повседневной еды — и к другим женщинам, которые тоже больше не хотят молчать. Чтобы открыть правду, Элис придётся рисковать чужими жизнями. Чтобы остаться врачом — научиться слышать чужое «нет». А чтобы вернуть себе право на жизнь, перестать ждать разрешения от тех, кто уже отнял у неё всё.

© Ван Хаутен Э., 2026

© Автор, 2026

Элли Ван Хаутен

Трещины в Раю

Трещины В Раю
Элли Ван Хаутен
Роман

Глава 1 Чисто

Заболевших увозили ради общего благополучия. Их квартиры быстро освобождались. Их имена ещё некоторое время оставались на посылках. О смерти говорить разрешалось. О том, куда увозили живых, — нет.

Будильник разрезает тишину в шесть десять. Три коротких звука, пауза, еще один. Я открываю глаза раньше последнего: за три года тело выучило этот приказ лучше, чем собственное имя.

На стене проступает светлая полоса. Ее оставляет окно, хотя за окном еще темно. В доме напротив уже включена утренняя панель, и белый прямоугольник перебирается через улицу ко мне, скользит по потолку, спускается к кровати. Здравия новому дню. Буквы перевернуты и растянуты, но я знаю их наизусть.

Несколько секунд я лежу, не двигаясь. В такие секунды иногда кажется, что в соседней комнате кто-то есть. Не слышится голос, не возникает изображение — только уверенность, с которой раньше просыпались матери: ребенок там, за стеной, и пока он спит, можно позволить себе еще один вдох. Потом взгляд находит дверь. За ней нет соседней комнаты. За ней шкаф глубиной сорок сантиметров.

Моя квартира состоит из жилой ячейки, ванной и кухни, которую в акте заселения назвали пищевым модулем. Восемнадцать квадратных метров. Стены серые, стол серый, складной стул чуть темнее. Единственный мягкий предмет — матрас. Даже подушка набита так плотно, словно ее тоже проверяли на склонность к беспорядку. В квартире нет фотографий, ковра, растений. Для растений нужен отдельный санитарный допуск. Для фотографий мне потребовалось бы то, чего у меня давно нет: возможность смотреть на лицо и не ждать, что оно сейчас исчезнет.

Я выключаю будильник ладонью. На экране возникает дата: 14 марта 2045 года. Ниже — температура, индекс воздуха, доступный остаток воды. Внизу мигает напоминание о пробиотике. Я отворачиваю устройство экраном вниз, хотя понимаю, что от этого оно не перестает видеть меня.

Пол холодный. Мне нравится эта первая боль в ступнях: она имеет ясную причину. Ночью температура снижается по общему режиму, подошвы соприкасаются с плиткой, нервные окончания делают свою работу. Здесь нечего толковать. Я стою, пока не перестает кружиться голова, и подхожу к зеркалу.

Зеркало прикреплено к внутренней стороне дверцы. Когда она закрыта, у меня как будто нет лица.

Я вижу женщину с темными волосами, собранными в небрежный узел. У виска выбилась седая прядь. За последние месяцы появилась еще одна, над правым ухом; в тусклом свете они напоминают следы клея, которым пытались соединить треснувшую вещь. Кожа под глазами тонкая, желтоватая. На переносице две глубокие складки. Я разглаживаю их пальцем, и женщина в зеркале делает то же самое, без убежденности.

Мне тридцать пять. Иногда я мысленно произношу возраст, как лабораторный результат, который следует перепроверить. Слишком велико расхождение между числом и тем, что передо мной. Впрочем, я плохо помню, как должна выглядеть женщина в тридцать пять, если ей разрешено нормально спать.

На верхней полке лежит диагност в белом футляре. Я открываю его только сухими руками. Металл холодит пальцы; в узкой рукоятке что-то негромко щелкает. На экране появляется инструкция, которую нельзя убрать до конца показа: полное обследование поверхности, отсутствие одежды, время не менее восьми минут. При отклонении немедленно сохранять неподвижность и ожидать сопровождения.

Раньше я объясняла пациентам, что онкологическое заболевание не определяется проведением прибора по коже. Что отрицательный предварительный тест не исключает болезни. Что обследования должны назначаться по показаниям, а не по громкости страха. Теперь я снимаю ночную рубашку и начинаю с левой ключицы.

Прибор гудит. Я веду его медленно, по схеме на экране: шея, плечо, внутренняя поверхность руки. На локте задерживаюсь. Вчера здесь была болезненность. Сегодня тоже есть — если искать. Я ищу.

В инструкции написано: контакт без давления. Я давлую, замечаю белое пятно под насадкой, ослабляю руку. За окном женщина с панели желает городу устойчивого здоровья. У нее приятный голос с небольшим, тщательно рассчитанным дыханием между словами. Такое дыхание вызывает доверие. Синтетическим голосам специально добавляют человеческую усталость, но лишь столько, чтобы она не напоминала о смерти.

На животе я останавливаюсь дважды. Внизу, справа, чувствую тянущую тяжесть. Она бывает почти каждое утро. Я знаю несколько объяснений, большинство безобидны. Знание не помогает. Я думаю о тех объяснениях, которые не безобидны, и веду прибор по тому же месту еще раз.

Сантиметр за сантиметром. В комнате не слышно ничего, кроме гудения и моего дыхания. На спине есть участок, до которого трудно дотянуться. Я поворачиваю рукоятку, выворачиваю плечо. Когда-то Мэтью помогал мне застегивать платье. Сейчас я не позволяю себе даже закончить эту мысль: рука дрогнет, и придется начинать линию заново.

Последними идут стопы. Я сажусь на край кровати, сканирую пятку, подошву, каждый палец. Прибор требует возврата к левому колену: недостаточная площадь контакта. Я возвращаюсь. Лучше потерять минуту, чем весь день думать о пропущенном сантиметре.

Когда полоска заполнена, экран темнеет.

Ожидание длится одиннадцать секунд. Я считала много раз. Сегодня считаю снова и сбиваюсь на девятой, потому что в трубе шумит вода. Кто-то сверху уже начал очищение. Мне хочется постучать в потолок, заставить его замолчать. От шума результат не изменится. Я знаю это так же ясно, как знаю, что все равно хочется.

Чисто.

Слово появляется зеленым. Под ним мелким шрифтом написано: предварительный статус подтвержден до следующего обязательного цикла.

Я выдыхаю слишком громко. Потом прикусываю щеку. Облегчение всегда кажется мне нарушением: за него придется расплатиться чем-нибудь, чего я еще не вижу. Я сохраняю результат. Устройство передает его в домовую узел; на стене загорается зеленая точка. Теперь город знает, что мое тело разрешено выпустить наружу.

В ванной я открываю воду на половину напора. Остаток на дисплее уменьшается. Полотенце висит по линейке, край к краю с вентиляционной решеткой. Я расправляю угол, хотя он ровный, и беру мыло.

Мыло пахнет горьким миндалем и чем-то больничным. На обертке нарисована ладонь без линий. Сначала руки, потом лицо, шея, подмышки, живот. Я намыливаю кожу до скрипа, смываю, повторяю. Между пальцами есть маленькие трещины. В них щиплет. Я говорю себе, что достаточно одного раза, и снова нажимаю на дозатор.

Мытье не может защитить от того, чего я боюсь. Это не зараза на руках. Если мне когда-нибудь дадут прежний кабинет, прежнюю табличку, человека по другую сторону стола, я скажу

ему именно так. Но сама я смотрю, как белая пена исчезает в сливе, и мне кажется, что вместе с ней уходит хоть небольшая часть вероятности.

На полке лежит крем. Мне выдают его для сохранения чувствительности пальцев: врачу положены исправные руки. Не мягкие, не красивые. Исправные. Я втираю крем в костяшки, пока дисплей предупреждает, что влажность превышает установленный предел. В ванной нельзя задерживаться. Долгое отсутствие движения считается бытовым происшествием.

— Я здесь, — говорю я.

Слова неприятно звучат в пустом помещении. Домовой узел отвечает коротким сигналом. Ему нужен голос, а мне — доказательство, что я еще способна выдать его ровно.

Униформа ждет на спинке стула. Я надеваю белье, серые брюки, высокую тунику цвета топленого молока. Ткань жесткая, плотная, застежка идет от подбородка к левому плечу. Ее сделали так, чтобы пациент не мог схватить врача за ворот. Или врач пациента. В пояснении предусмотрено только первое.

На груди — узкая янтарная полоса и знак домашнего медицинского сопровождения. Он дает право проходить во внутренние кварталы, пользоваться закрытой аптекой и получать питание класса А. Он же означает, что у меня не бывает личного времени в полном смысле слова. Вейры могут вызвать меня ночью, из транспорта, из очереди на собственное обследование. Приказ о вызове важнее предварительного статуса здоровья, если речь идет о члене Совета.

Я застегиваю тунику, проверяю карманы. Перчатки, две обычные диагностические полоски, фонарь, ручка. Ручки разрешены медицинским работникам, поскольку не все поверхности принимают цифровую отметку. Моя черная, с затертым колпачком. Я держу ее как тяжелый предмет, хотя она почти ничего не весит.

Последней закрепляю полосу допуска. Щелчок у горла похож на застегивание чужого ошейника. Я отодвигаю ткань на ширину пальца и возвращаю на место. Когда я одета, в зеркале остается меньше меня, и это облегчает выход.

На кухне я открываю холодильник.

Три контейнера стоят в верхнем отсеке. В нижнем — вода и пустая полка. Мне запрещено смешивать служебный рацион с общим, покупать еду на улице, принимать съедобные подарки. В договоре это объясняется защитой непрерывности медицинского обслуживания. Если я заболею, семье придется искать другого врача. В этом есть что-то почти трогательное: мои внутренние органы принадлежат их расписанию.

Я беру утренний контейнер, проверяю пломбу. Пломба цела. Номер совпадает с накладной. Дата вчерашняя, доставка в двадцать один ноль шесть. Ставлю контейнер под пищевой сканер. Синяя полоса идет от края к краю, на экране появляются белки, жиры, минералы и строка соответствия. Соответствует.

Пищевой сканер не знает всего. Это анализатор нескольких заданных веществ и меток поставщика. Я знаю его ограничения, но все равно разворачиваю контейнер и проверяю еще раз. Вторая проверка занимает сорок секунд. Я бы сделала третью, если бы от этого не опоздала.

Внутри кусок отварной индейки, крупа и половина яблока. Индейку я промываю теплой водой. Вчерашняя Элис уже промывала бы ее, но контейнер запечатан, значит, вчерашняя не могла этого сделать. В голове от этой простой мысли возникает ненужное раздражение. Я снимаю с мяса верхний слой ножом и выбрасываю. Там нет видимых повреждений. Причина мне не нужна.

Со свининой проще: я ее не ем. В списке допустимых замен стоит отметка о стойкой пищевой непереносимости. Я сама внесла эту отметку полтора года назад и с тех пор поддерживаю ее, как маленькую ложь, которой дали официальное жилье. О том, что индейка может быть столь же опасна, я утром стараюсь не думать.

С яблока снимаю кожуру до бледной мякоти. Два миллиметра, местами три. Раньше Итан съедал кожуру первой. Ему нравился хруст, и он говорил, что внутри яблоко уже скучное. Я оставляю нож на столе, не выпуская рукоятки. Несколько секунд смотрю на тонкую красную ленту в мусорном желобе.

— Рацион подготовлен, — произносит узел.

Я не отвечаю. Сажусь и начинаю есть.

Каждый кусок нужно прожевать достаточно, чтобы не проглотить его в панике. Я считаю движения челюсти. На двенадцатом иногда забываю, что лежит у меня во рту, и тогда приходится посмотреть в тарелку. Пища потеряла названия, связанные с удовольствием. Никто не говорит: сладкое яблоко, хороший хлеб, любимый суп. Говорят: проверенный источник, переносимая структура, благополучная партия. Даже голод звучит неприлично. Он означает, что организм чего-то требует прежде, чем государство успело разрешить.

На панели начинается утреннее сообщение. Я не включала звук; он включается сам в часы обязательного информирования.

«Совет напоминает: раннее выявление сохраняет благополучие близких. Соккрытие симптомов увеличивает общую нагрузку. Ответственное участие — основа долгой жизни».

Внизу идет число перемещенных за сутки. Оно меняется быстро, и я не успеваю прочесть последнюю цифру. Сначала сто восемьдесят, потом кажется — сто восемьдесят семь. Я смотрю на крупу, пока сообщение не закончится.

Перемещенными стали называть людей после того, как перестало действовать слово «пациент». У пациента есть лечащий врач, история болезни, право спросить, почему ему назначили препарат. Перемещенный нуждается только в маршруте. Это удобнее для всех, кто составляет отчет.

Я доедаю яблоко. Пустую тарелку ставлю в мойку. Сегодня на дне контейнера остается кусочек мяса с темной прожилкой. Я разглядываю его, придумываю причину потемнения, отвергаю ее. Тридцать граммов белка мне не нужны. Мне нужно дожить до вечера.

У выхода я задерживаюсь перед шкафом.

В нем два комплекта униформы, пальто и коробка с разрешенными медицинскими принадлежностями. На задней стенке, за съемной панелью, нет ничего. Я проверяла много раз. И все же иногда стою здесь, словно у меня есть спрятанная вещь, которую нужно убедиться не потерять.

Вещь действительно была. Синий детский носок. Один, с отверстием на пятке, которое я не успела зашить. После эвакуации я держала его в руке до утра. Потом пришла санитарная бригада, и женщина с прозрачным щитком велела положить все предметы зависимых лиц в пакет. Я сказала, что носок мой. Она посмотрела на него, потом на меня. Не стала спорить. Просто записала отказ от добровольной передачи.

Я отдала его.

Теперь я стою перед пустой панелью и знаю, что не смогла сохранить даже носок. Это знание очень небольшое. Оно помещается куда угодно: в очередь, в лифт, между словами «здравия вам» и ответом человека, которому я их говорю.

Три года назад мы жили в другом доме. Там была кухня с настоящим столом и две комнаты. Мэтью приклеил на внутреннюю сторону входной двери маленький крючок для Итановой куртки. Крючок был желтый. Ребенок мог дотянуться сам и ужасно гордился этим. Я помню его лучше, чем цвет глаз человека, который пришел нас забирать.

Это случилось восемнадцатого ноября.

Днем у Мэтью прошла обязательная проверка на предприятии. Он работал с городскими водными системами, исправлял то, что автоматические узлы не умели исправить без рук. Вернулся раньше обычного, снял обувь и сказал, что ему нужно дополнительное обследование. Не страшно, сказал он сразу. Такое бывает из-за погрешности.

Я потребовала результат. Он показал запястье: на рабочем браслете желтела точка. Полный отчет недоступен до подтверждения маршрута. Мэтью улыбнулся так, как улыбался, когда не хотел меня пугать, и я рассердилась на эту улыбку. Если бы он не улыбался, я, возможно, поняла бы раньше. Хотя что именно поняла бы, до сих пор не могу сказать.

Итан сидел на полу и строил станцию из деревянных брусков. Дерево осталось от старой полки, Мэтью распилил его, зачистил края. Мальчик выстраивал тоннель, потом укладывался рядом и смотрел одним глазом, может ли поезд пройти. Поезда у него не было. Вместо поезда служила ложка.

Я готовила ужин. Вода уже кипела, на доске лежали очищенные овощи. Тогда я еще не снимала с них столько, сколько снимаю сейчас. Из окна было видно мокрый двор. Фонарь включался и выключался, потому что датчик принимал ветки за человека.

В девятнадцать сорок две раздался звонок.

Не обычный, короткий. Длинный звук, который начался в двери и продолжился в домашней панели. Мэтью поднял голову. На его браслете точка стала красной.

— Не открывай, — сказала я.

Я произнесла это слишком поздно. Замок уже щелкнул: у санитарного сопровождения не было необходимости ждать нашего согласия. Дверь отодвинулась, и на пороге появились трое. Двое в белых плотных комбинезонах, третий в темной форме, с открытым лицом. За ними стояла женщина с планшетом. В прихожую сразу вошел холодный воздух, запах мокрой ткани и резкий дезинфицирующий запах, которым потом пахло все.

— Сохраняйте благополучие, — сказал человек в темном.

Я помню, что он сначала посмотрел на мою домашнюю одежду. На рукав с пятном от моркови. Люди, которые приходят разрушить твою жизнь, почему-то успевают заметить, что ты неряшлива.

Он назвал фамилию Мэтью, дату рождения, номер работы. Сказал: подтвержденный статус, экстренное перемещение в специализированный центр. Я спросила, какой именно статус. Он повторил слово «подтвержденный» громче, будто проблема заключалась в слухе.

— Я врач. Покажите данные.

Женщина подняла планшет, но повернула экран к себе.

— Медицинская квалификация не дает родственнику права вмешиваться в санитарный маршрут.

— Какая локализация? Какая проба? Кто подтвердил?

Она коснулась экрана три раза. Мне показалось, что она отмечает мои вопросы как отдельные нарушения. Может быть, так и было.

Мэтью встал. Итан тоже встал, держа ложку, и подошел к желтому крючку. Он решил, что мы куда-то едем. Взял куртку, но один рукав вывернулся внутрь. Он дергал его, злился тихо, чтобы взрослые не решили, что он мешает.

Человек в темном сказал:

— Зависимое лицо также включено в маршрут.

Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять. Я слышала каждое слово отдельно, но они не соединялись в предложение. Зависимое. Лицо. Также.

— Нет, — сказала я. — Его не обследовали.

— Групповое выявление.

— Такого диагноза нет.

Он посмотрел на меня внимательнее. До этой минуты я была родственницей, создающей задержку. Теперь становилась чем-то более неудобным.

— В актуальном протоколе предусмотрено.

Я подошла к Итану. Встала перед ним и взяла куртку. Рукав удалось выправить сразу, от этого меня почему-то затрясло сильнее. Я могла справиться с рукавом. На этом мои возможности заканчивались.

— У него нет симптомов. Дайте сделать анализ. Я сама возьму кровь. У меня есть набор.

Один из людей в белом прошел мимо меня в комнату. Он не спрашивал, где ребенок. Датчик у него на груди уже показывал направление. Итан отступил к Мэтью.

— Мам, это прививка?

Я сказала, что нет. Это было последнее правдивое объяснение, которое я ему дала.

Мэтью попросил назвать центр. Человек в темном ответил: информация будет представлена после приема. Мэтью спросил, смогу ли я приехать. Ответ был тем же. Он задал третий вопрос, и человек поднял ладонь.

— Тревожные высказывания препятствуют безопасному сопровождению.

Тогда я начала говорить очень спокойно. Так я говорила с людьми перед операцией, когда они уже заметили собственный страх и стыдились его. Я предложила сесть, открыть результаты, сверить идентификаторы. Сказала, что понимаю необходимость порядка. Сказала, что готова соблюдать требования. Я согласилась со всем, что можно было произнести, лишь бы получить минуту.

Женщина с планшетом объяснила, что моя минута истекла до их прибытия.

Белый комбинезон шуршал рядом с Итаном. Мужчина взял его за плечо. Я увидела руку в толстой перчатке на детской футболке и ударила по ней. Не сильно; я даже в тот момент боялась причинить ребенку боль. Меня отодвинули к стене. Лопатка прилась на край зеркала. Оно хрустнуло, но не рассыпалось — на стекле осталась косая трещина.

Мэтью шагнул ко мне, и второй человек в белом согнул ему руку за спиной. Итан начал кричать. Не громко сначала, а тонко, как будто ему было трудно протолкнуть звук через горло. Потом закричал по-настоящему.

До этого я думала, что у ребенка есть особый голос для беды. Что мать узнает его и сумеет сделать то, чего не смог бы никто другой. Голос был. Остальное я придумала.

— Папу отпусти! — сказал Итан. — Это мой папа!

Человек в темном достал короткое устройство. Не направил на меня, просто держал у бедра. Я сразу перестала двигаться. Он видел, что я поняла, и не убрал его.

Мэтью сказал мое имя. Один раз. Потом повторил тихо, без просьбы:

— Элис. Посмотри на меня.

Я посмотрела. Он стоял боком, плечо поднято к уху из-за вывернутой руки. На губе появилась кровь: он ударился о косяк. Я пыталась определить, насколько серьезно повреждение, потому что с повреждением было понятно, что делать.

— Одень его, — сказал Мэтью.

Мне позволили подойти к сыну. Я надела на него куртку. Он плакал и не попадал руками в рукава. На левом запястье был нарисован поезд, который я нарисовала утром, пока он отказывался завтракать. Поезд с тремя окнами. Я взяла его ладонь, и он вцепился в мой большой палец.

— Ты со мной?

Я сказала: да.

Это слово осталось между нами навсегда, хотя меня не взяли даже в машину.

В прихожей Итан потерял ботинок. Маленький, с липучкой. Он упал на бок под скамью, и никто, кроме меня, не заметил. Я наклонилась, мне велели выпрямиться. Я объяснила про ботинок. Человек в темном сказал, что в центре предусмотрено обеспечение.

Предусмотрено обеспечение. Я повторяла эти слова потом, когда пыталась представить, холодно ли ему. Они ничего не означали, но других у меня не было.

Мэтью надели браслет поверх рабочего. Оба горели красным. Итана подняли на руки, не как ребенка, а как предмет, который мешает нести его за ручку. Он выгнулся, искал меня глазами. Я шла следом до лифта, пока человек в темном не остановил меня ладонью в грудь.

Соседние двери оставались закрыты. За одной работал телевизор. Из-за другой пахло жареным луком. Мир продолжал ужинать с такой аккуратностью, что мне хотелось разорвать его руками.

Лифт пришел медленно. На экране над дверью мигало пожелание: пусть ваше здоровье будет устойчивым. Итан плакал уже без слов. Мэтью пытался повернуть голову ко мне, ему мешал воротник комбинезона человека, державшего его плечо.

Я успела сказать:

— Я найду вас.

В отличие от первого обещания, в тот момент я верила, что смогу его выполнить.

Двери закрылись. Я нажала кнопку вызова. Она не загорелась. Нажала еще раз. После третьего на дисплее появилось: санитарный приоритет, ожидание.

Я побежала по лестнице.

На шестом этаже оступилась, ударила колено, продолжила. На четвертом не смогла сразу открыть противопожарную дверь. Она требовала приложить браслет, а я забыла, на какой руке он у меня. Я смотрела на обе руки, как на чужие. Потом приложила правую.

Когда я вышла во двор, машина уже разворачивалась. Без окон, с белой полосой по борту. Никакой сирены. Я успела увидеть мокрое колесо и квадратный фонарь. Ударила ладонью по задней двери. Машина не остановилась. Второй удар пришелся в воздух.

На асфальте осталась ложка.

Я не видела, когда он ее выронил. Подняла, зажала в кулаке и стояла, пока дворник не попросил освободить проезд. На рукоятке были Итановы зубы: он иногда грыз ее, хотя я запрещала. У меня появилась совершенно ясная мысль — надо будет показать стоматологу.

В тот вечер мне еще казалось, что у нас есть будущее, в котором требуется стоматолог.

Первые сорок восемь часов я искала их во всех доступных реестрах. Подавала запросы, звонила на линии сопровождения, ездила к распределительным пунктам. Меня спрашивали номер маршрута. Номер был на документе, который женщина оставила возле двери. Девять цифр. Я до сих пор помню их, но стараюсь не произносить вслух: иногда узел принимает числовую последовательность за запрос и открывает форму, которую я уже не выдерживаю заполнять.

На пятый день маршрут перестал находиться. На восьмой мне предложили прекратить дублирующие обращения. На двенадцатый из моей профессиональной записи исчезло право на самостоятельную практику. Причина: эмоциональная заинтересованность, влияющая на достоверность медицинских суждений.

Я читала эту формулировку в пустой кухне. Вода в кастрюле давно выкипела. На дне пристали овощи, приготовленные в тот вечер. Я не убирала их, потому что в неубранном ужине оставалось незаконченное действие: они должны были вернуться, чтобы поесть.

Позже я убрала и его.

В дом Вейров меня направили через семь месяцев. До этого я распределяла материалы в реабилитационном складе и каждый день подтверждала готовность к полезной деятельности. Вейру требовался врач с хорошими руками и отсутствием семейных обязательств. В моем деле обнаружилось и то и другое.

Теперь замок моей квартиры щелкает в семь ноль две. Я стою в прихожей полностью одетая. До транспорта девять минут, и я не могу объяснить ему, что лестница, по которой я должна спуститься, иногда все еще находится в ноябре.

В коридоре пахнет очистителем и теплой пылью. Соседка из двадцать третьей уже ждет лифт. Она всегда держит сумку перед животом обеими руками. Я не знаю ее имени, хотя мы встречаемся почти каждое утро.

— Здравия вам, — говорит она.

— Устойчивого здоровья.

Так принято отвечать тем, у кого допуск ниже твоего. Ответ подчеркивает, что благополучие возможно, если человек выполняет свою часть работы. Я ненавижу его и все равно произношу правильно.

У соседки на рукаве пришита новая заплата. Шов кривой, нитка белая. Она замечает, куда я смотрю, и быстро поворачивает локоть внутрь.

— Сегодня сухо, — говорит она.

Разговор о погоде допускается без риска, если не связывать погоду с качеством очистки воздуха. Я киваю.

Лифт открывается. Мы входим и становимся в обозначенные прямоугольники. Между нами пустой квадрат. На месте ее имени высвечивается номер; на месте моего — должность. Номер, вероятно, тоже хотел бы знать, почему сегодня сухо, но не спрашивает.

На первом этаже рамка сканирует лица. Нужно снять верхнюю часть воротника и посмотреть в черную точку. Я смотрю. В ней помещается крохотная я, белое пятно туники и темная щель рта. На секунду появляется желание сделать что-нибудь глупое: показать язык, закрыть глаз, не дать им ровной картинки. Я сглатываю и прохожу.

Соседку задерживают.

Рамка просит предъявить обновление утреннего статуса. Женщина роется в сумке, достает домашний диагност, футляр, карточку. Ей объясняют, что локальный результат не передан. Она отвечает, что зеленый был, она видела зеленый.

Я могу остановиться. В моей сумке есть служебный прибор, и право подтвердить внешний статус при сбое связи у меня тоже есть. Это заняло бы две минуты, потом еще несколько на объяснение, почему я вмешалась в работу домовой системы. Вейры не любят задержек. Повторяющееся отклонение в расписании отражается в ежемесячной оценке.

— Доктор, — говорит соседка.

Я уже за рамкой. У двери светится время прибытия транспорта: семь одиннадцать.

— Обратитесь к диспетчеру, — отвечаю я.

Слова выходят ровные, полезные, совершенно пустые. Я не смотрю на ее лицо. Дверь выпускает меня в утро и закрывается прежде, чем она успевает ответить.

На улице сухо.

Снег лежит только вдоль заграждений, серый, с ровными отверстиями от стока. Мартовский воздух кажется чище, потому что холод скрывает запах. Над остановкой висит камера. Вторая стоит на крыше павильона, третья встроена в рекламную панель. Я знаю места камер так, как другие люди знают расположение деревьев в любимом парке.

На панели улыбается ребенок с яблоком. У него все зубы, ни одного промежутка. Дети на рекламных изображениях никогда не меняют зубы: переходные состояния тревожат потребителя. Под изображением написано: проверенная пища — уверенное завтра. Номер поставщика совпадает с номером на моем утреннем контейнере.

У павильона стоят шесть человек. Они не смотрят друг на друга. Разговоры в общественных местах сканируются, но главное действие системы происходит до сканирования: ты зараннее решаешь, какое слово может понадобиться тебе завтра для оправдания. Потом выбираешь молчание.

Транспорт приходит без водителя. Для янтарного допуска предназначены два места за стеклянной перегородкой. Я прикладываю браслет, сажусь у окна. В общей части мужчина закрывает ладонью кашель. Слишком поздно: индикатор на потолке уже меняет цвет. На

панели появляется просьба соблюдать дыхательный этикет. Мужчина перестает кашлять, зажимает рот, и мне хочется сказать ему, что так только хуже. Я смотрю в окно.

Город просыпается этажами. Внизу включаются распределительные пункты, выше — служебные кабинеты, еще выше свет загорается в комнатах, где люди выбирают, какой день будет у остальных. На стенах домов нанесены вертикальные полосы. По ним легко различать секторы, даже если стоишь слишком далеко, чтобы прочитать номер. Нижние серые, промежуточные синие, внутренние белые. Зеленый цвет разрешен медицинским учреждениям и пищевой рекламе. Живым деревьям цвет разрешать не требуется, но деревьев почти нет.

Когда мы проезжаем школьный пункт, дети выстраиваются перед рамкой. Каждый должен вытянуть руки и повернуть голову. Девочка в слишком большом пальто сбивается, поворачивает в другую сторону. Ее ставят в конец. За оградой мать поднимает ладонь, словно изда- лека можно поправить движение детского подбородка.

Я отвожу глаза, но изображение уже остается со мной. Ладонь женщины движется внутри стекла, отражается поверх моего лица. Несколько кварталов мы едем вместе.

На границе Верхнего кольца транспорт останавливается. За перегородкой начинается повторная проверка. Мне предлагают приложить палец, назвать должность и цель следования.

— Личный врач семьи Вейр. Плановое сопровождение.

Голос принимают не сразу. На панели возникает просьба повторить последнее слово. Я повторяю. В горле сухо. Сегодня мой собственный голос кажется мне подделанным.

Стекло на секунду становится непрозрачным. Это делают для сохранения приватности внутренних кварталов. Когда прозрачность возвращается, меняется даже свет. Улица шире, снег белее, фасады не покрыты сеткой внешних воздуховодов. Здесь машины едут отдельно, с людьми на передних сиденьях. Где-то есть человек, чья работа заключается в том, чтобы другой человек мог держать руки на коленях.

Дом семнадцать окружен низкой стеной. На стене нет проволоки. Элитные ограничения должны выглядеть добровольными.

У ворот меня встречает Одри. Она старшая среди домовых работниц, хотя по возрасту ненамного старше меня. Ей, кажется, сорок с небольшим. Волосы гладко убраны под серую сетку. На манжете влажное пятно, которое она прячет большим пальцем.

— Здравия вам, доктор.

— Устойчивого здоровья.

Рядом с ней я произношу ответ тише. Это ничего не меняет, но мне нравится притворяться, что меняет.

Одри прикладывает свою карточку одновременно с моим браслетом. Вход требует двух подтверждений. На стене написано: доверие укрепляет безопасность. Одри смотрит на слова так, словно проверяет, не пора ли их протереть.

В прихожей тепло. Настоящее тепло, не короткое разрешение не замерзнуть. Пахнет кофе. Я чувствую запах, прежде чем успеваю подготовиться, и желудок болезненно сжимается. Мэтью варил кофе по воскресеньям, хотя зерна тогда уже стоили дорого. Я помню, как он стучал ложкой по краю чашки. В этом доме чашки стоят на мягких подставках. Здесь даже ложкам не нужно объявлять о себе.

Одри берет мое пальто. Служебная дверь закрывается за нами. По пути в медицинскую комнату я прохожу вдоль зимнего сада. За высоким стеклом растут лимонные деревья. На одном висит плод размером с детский кулак. Я не могу пройти мимо него, не заметив размер.

На стекле отражается мое лицо. Лимон оказывается у меня под подбородком, желтый и нелепо живой. Я ускоряю шаг.

В медицинской комнате включаю рабочий терминал. В расписании три утренние процедуры: давление Винсенту Вейру, контроль показателей его жены, осмотр дочери. Под ними

новая строка. После четырнадцати — репродуктивная приемная номер шесть, Южный сектор. Обязательное присутствие. Я раскрываю назначение.

Последние два месяца мне добавляют такие смены. Официально это рациональное использование редкой квалификации. Врач элитного дома должен помогать поддерживать воспроизводственный порядок города. У женщин нет возможности выбрать врача, у врача нет возможности отказаться от женщины.

Раньше я лечила людей. Теперь я оцениваю, допустимо ли им продолжать происходящее в их телах. Иногда это одно и то же. Чаще я делаю вид, что не замечаю разницы.

В список внесены двенадцать имен. Две записи помечены желтым. Лилиан Арден, двадцать два года, отсутствие назначенного партнера. Рэйчел Сенц, сорок один, повторное нарушение срока явки. Я читаю обе строки и закрываю подробности. Мне все равно придется открыть их после обеда. Пока можно позволить себе не знать адресов.

Винсент Вейр приходит в медицинскую комнату ровно в восемь. Он предпочитает, чтобы я ждала здесь, а не входила к нему в кабинет. Это дает ему ощущение, что здоровье тоже включено в расписание и не требует уступок.

— Здравия вам, Элис.

— Здравия вам, господин Вейр.

С ним ответ должен быть таким же, как приветствие. Никакого намека, что устойчивость его здоровья зависит от чего-то, кроме собственной разумности.

Он садится и протягивает руку. На запястье остаются следы от ремешка дорогих часов. Настоящих, с механизмом. Часы показывают только время, и за эту ограниченность стоят больше, чем моя прежняя квартира.

Я закрепляю манжету. Его кожа теплая. Пульс под моими пальцами идет спокойно, уверенно. Я ненавижу его так сильно, что иногда боюсь: он почувствует это через прикосновение.

— Не слишком туго?

— Вполне терпимо.

Вполне терпимо. У него есть язык для небольшого неудобства, и он пользуется им без стыда.

Давление выше обычного. Я спрашиваю о сне. Он говорит, что заседание закончилось поздно. Я уточняю, принимал ли препарат. Он смотрит на меня с легким недовольством: вопрос подразумевает возможность неподчинения, пусть даже своему врачу.

— Разумеется.

Я отмечаю прием. Препарат в его органайзере остался нетронутым; я видела это вчера вечером. Можно указать несоответствие, назначить повторный контроль, предупредить. Можно выбрать удобную ложь. Я делаю паузу, затем говорю о необходимости восстановить сон.

— Все хотят, чтобы я спал, — произносит он. — А кто будет работать?

Он ожидает улыбки. Я даю ему небольшую, без зубов.

На стене рядом с креслом висит схема кровообращения. Вейр однажды попросил убрать красный цвет: он действовал раздражающе. Теперь артерии обозначены золотистым. Кровь в доме члена Совета течет как положено, даже на картинке.

— После обеда вы в Южном? — спрашивает он.

— В шестой приемной.

— Там накопились нарушения. Не нужно допускать лишней мягкости. Эти люди принимают отсрочку за разрешение.

Я слышу «эти люди» и смотрю на пульсирующую жилку у его запястья. На нее можно нажать. Не чтобы убить — просто сделать больно. Я представляю короткое движение ногтя. Потом убираю манжету и складываю ее ровно.

— Решения будут внесены по протоколу.

— Я в вас не сомневаюсь.

В такие минуты мне кажется, что ненавидеть его недостаточно. Ненависть — слишком удобное внутреннее действие. Она ни к чему не обязывает и никак ему не мешает. Пока я измеряю давление, он может не сомневаться во мне сколько угодно.

После него приходит Эвелин. Она идет медленно, одной рукой касается дверного косяка. На ней темный домашний костюм, на шее тонкая цепочка. В открытом ворота видна ключица, слишком резкая для того веса, который указан в последнем отчете.

— Здравия, — говорит она и останавливается, словно забыла продолжение.

— Садитесь.

Я уже нарушила форму ответа. Эвелин замечает, но не смотрит на камеру. Камера находится в верхнем углу, медицинское наблюдение ведется с ограничением звука. По крайней мере, так указано в договоре.

Я спрашиваю о тошноте. Она пожимает плечами.

— После утреннего. Иногда.

— После препарата или еды?

— Не знаю. Все одновременно.

Она протягивает руку для забора крови. На локтевом сгибе старый синяк. Я меняю сторону. Эвелин следит за моими пальцами.

— Вы всегда ждете, пока я отвернусь.

— Вам так легче.

— Я не отворачиваюсь.

Я поднимаю глаза. Действительно, она смотрит прямо на иглу. Я так привыкла объяснять ее жесты за нее, что перестала их видеть.

— Тогда скажите, когда будете готовы.

— Сейчас.

Кровь наполняет пробирку. Красная, обычная. Я испытываю странное облегчение от этого цвета. На схеме можно изменить все что угодно; здесь пока нельзя.

Эвелин спрашивает, назначена ли мне городская смена. Я отвечаю. Она закрывает глаза, потом открывает.

— Там холодно?

Вопрос о погоде, самый безопасный из всех. Только в ее голосе нет ничего о погоде.

— По-разному.

— Возьмите теплую вещь.

— Я в служебной машине.

— Все равно.

Она уходит, не дожидаясь результата. На кресле остается едва заметный запах кожи и крема. Я могла бы решить, что она пыталась проявить заботу. Могла бы решить, что ей просто неприятно представить холодное помещение. Доверие требует энергии, которую я привыкла экономить.

Айви приводит Одри. Девочке восемь, на два месяца больше, чем сейчас было бы Итану. Это знание не помогает мне осматривать ее. Каждый раз я проверяю возраст в карте, хотя он не меняется так быстро.

Она садится на кресло и болтает ногами. На колене ссадина. Настоящая, неровная, с прилипшей песчинкой.

— Что случилось?

— Упала.

— Где?

— В саду.

— На дорожке?

Она смотрит на Одри, потом на меня.

— За дорожкой.

Я достаю физраствор. Одри стоит рядом с дверью так неподвижно, что я понимаю: выход за дорожку не был разрешен. Ей придется объяснить, почему не предупредила. Я смотрю на ссадину и спрашиваю, болит ли при ходьбе.

Айви качает головой.

— Можно я не буду говорить папе?

— В карте будет написано, что это поверхностное повреждение. Для него достаточно обработки.

Это не обещание. Ребенок слышит обещание и облегченно выдыхает. Я узнаю этот выдох, и на секунду мне нужно опереться запястьем о край стола.

— Вы заболели? — спрашивает Айви.

— Нет.

— Вы побледнели.

Одри произносит ее имя предостерегающе. Я говорю, что свет в комнате слишком яркий. Девочка принимает объяснение с той готовностью, с которой детям приходится принимать взрослые объяснения, даже когда они плохие.

После обработки Айви достает из кармана яблоко. Маленькое, с листиком на черенке. Листик еще зеленый.

— Это вам.

Я не беру.

— Мне нельзя пищу без регистрационной упаковки.

— Оно наше. Из сада.

— Я знаю.

— Мама ест.

— Для меня другие правила.

Она держит яблоко между нами. Я вижу, как меняется ее лицо: она уже не понимает, чем провинилась, но готовится стыдиться. Мне хочется забрать плод, хотя бы не есть, просто дать ей завершить подарок. Вместо этого я объясняю еще раз, мягче, теми словами, от которых ничего не становится мягким.

Айви убирает яблоко в карман. Одри помогает ей спуститься с кресла. У двери девочка оборачивается.

— А если разрезать?

— Нет, Айви.

Она кивает. Уходит серьезной. Я закрываю карту и понимаю, что сегодня уже второй человек попросил меня о чем-то небольшом, а я нашла подходящий отказ.

В одиннадцать мне выдают список дополнительного контроля. Я проверяю домашнюю аптеку, сроки препаратов, фильтры питьевой воды. Каждый результат должен быть подтвержден касанием. Терминал сохраняет время, место, длительность моей паузы. Если касание происходит слишком быстро, проверку считают формальной. Если слишком медленно — появляются вопросы к эффективности.

У шкафчика с препаратами лежит новая накладная. На ней два обозначения партии: печатное и приклеенное сверху. Верхняя этикетка закрывает нижнюю не полностью. Видны последние цифры, восемнадцать.

Я не должна читать пищевые наклейки в аптечном помещении. Их, вероятно, оставили по ошибке. В этом доме ошибки всегда чьи-то, и разумнее не заметить ту, которая пока не касается тебя.

Я переворачиваю лист. На обороте есть след от влажной ладони.

Потом возвращаю его на место.

До обеда я успеваю закончить отчеты. В графе собственных отклонений ставлю «нет». Головная боль есть, тяжесть в животе есть, левая кисть дрожит после разговора с Айви. Ни одно из этого не мешает мне работать настолько, чтобы я могла позволить себе записать.

Обед приносят в медицинскую комнату. Такой же контейнер, как утром, только крышка белая. Я проверяю пломбу, номер, состав. Мясо на этот раз другое — курица. На поверхности блестит прозрачный слой. Это может быть жир. Скорее всего, жир. Я просматриваю анализатор: все соответствует.

Открываю контейнер и слышу, как дверь тихо закрывается.

Одри принесла воду. Обычно она ставит ее рядом и сразу уходит. Сейчас остается у стены.

— Что-нибудь нужно? — спрашиваю я.

— У вас бывают лишние полоски?

Я смотрю на дверь. Она закрыта не до конца. В щели виден свет коридора.

— Для какого анализа?

— Обычные. Которые на кровь.

Так может сказать человек, который знает о медицине из инструкций на коробках. Я не поправляю ее.

— Они не устанавливают диагноз сами по себе.

— Мне и не нужно диагноз. Только понять.

На последнем слове ее голос меняется. Одри быстро выпрямляется. В верхнем углу тихо поворачивается объектив; возможно, это просто обычное движение по циклу. Я смотрю на бутылку воды, чтобы не поднять голову одновременно с ней.

— При симптомах нужно обращаться в районный пункт, — произношу я.

Она кивает. Все уже готово в ее лице: ответ, благодарность, отступление. Я видела это выражение в зеркале, когда чиновник на линии просил подать запрос повторно через тридцать дней.

— Не себе, — говорит она.

Я жду.

— Сестре. У нее... — Одри замолкает, разглаживает манжету. — Она работает. Не может пропустить смену.

Я хочу спросить, какие симптомы, сколько времени, какой возраст. Вопросы выстраиваются легко. За ними немедленно возникает обязательство внести сообщение о возможном сокрытии. Моя квалификация теперь означает, что любую услышанную беду нужно превратить в запись.

— Я не могу выдать материал без назначения.

Она смотрит на меня. В ее взгляде нет удивления, и это хуже, чем если бы было.

— Понимаю.

Одри поворачивается к двери, потом задерживается. Я еще держу вилку. Кусок курицы на ее конце остывает.

— Сегодня в приемной будет общий рацион, — говорит она. — С собой лучше взять свое.

— У меня выделенное питание.

— Да. Я знаю.

Она смотрит на контейнер. На белую крышку, снятую и положенную рядом. Я спрашиваю, что она имеет в виду. Не потому, что готова слушать, а потому, что уже не могу вернуться к еде, не услышав.

Одри отвечает слишком быстро:

— Там сменили поставку. Многие жалуются на вкус.

Жалоба на вкус не опасна. Качество государственного питания опасно обсуждать, а вкус — частное свойство языка. Она выбрала подходящее слово. Мне хорошо знакома эта работа.

— Какая партия?

Теперь она молчит дольше. Из коридора доносится мужской голос, потом шаги удаляются. Одри берет бутылку, переставляет ее ближе ко мне.

— Шесть восемнадцать.

Я вижу край накладной, закрытый новой этикеткой. Восемнадцать. Числа встречаются друг с другом без моего разрешения, и у меня сразу начинает чаще биться сердце.

— Откуда вы знаете?

— Сестра там получает.

— Вы сказали, ей нужен анализ.

Одри не отвечает.

Это может ничего не значить. Партии постоянно меняются, накладные исправляют, люди болевают. Одного совпадения недостаточно даже для осторожного предположения. Я повторяю это внутри себя так, словно убеждаю пациентку, которая напугана найденной в сети историей. Пациентка не успокаивается.

— Не говорите, что я спрашивала, — произносит Одри.

— Я обязана фиксировать обращения.

Она опускает глаза. Я слышу собственную фразу и понимаю, что уже произнесла ее с интонацией женщины, которая стояла тогда возле нашей двери. Медицинская квалификация не дает родственнику права. Данные недоступны. Я обязана.

— Воду, — говорю я громче. — Вы принесли воду. Спасибо.

Одри поднимает голову не сразу.

— Благополучного дня, доктор.

Дверь закрывается. На столе остаются бутылка, контейнер и вилка с курицей. Я кладу вилку. Жду, пока сердцебиение перестанет отдавать в пальцах. Никаких доказательств. Никакого заболевания, подтвержденного хоть чем-то. Только две цифры и лицо женщины, которая не ожидала от меня помощи.

На экране появляется напоминание о городской смене. Система предлагает подтвердить ознакомление с обновленным порядком выявления неназначенной беременности. Отказа нет. Есть две кнопки: «ознакомиться» и «ознакомиться позднее», причем позднее допускается только до начала смены.

Я нажимаю первую.

Текст длинный, с примерами неверного заполнения. При подозрении на беременность вне назначенного союза предварительная запись должна создаваться до завершения приема. Отсрочка допускается лишь при инструментально подтвержденной ошибке. Информация о женщине, возможном отце и лицах, содействовавших сокрытию, передается в отдел сопровождения.

Отдел сопровождения. Я читаю название два раза. Оно есть в документе, который оставили мне восемнадцатого ноября. Это не значит, что отдел тот же. В городе многие вещи носят одно имя, чтобы их было труднее различать.

Я закрываю инструкцию. В расписании снова появляется Лилиан Арден. Двадцать два. Желтая метка возле имени. Я думаю о девочке у школьной рамки, о соседке внизу, о яблоке, которое не взяла. Разрозненные вещи собираются в одну неудобную тяжесть. Я не умею назвать ее так, чтобы ничего не произошло.

Медицинский шкаф открывается по моему браслету. Внутри коробка диагностических полосок. Я пересчитываю их взглядом. Каждое применение должно быть связано с картой, но учет коробки происходит вечером. До вечера остается восемь часов.

Я вынимаю одну полоску.

Потом вторую. Вторую возвращаю. От этого первая не становится допустимой, однако мое тело почему-то воспринимает отказ от второй как доказательство умеренности.

Я держу полоску между пальцами. Она легкая, запаянная, с крошечным знаком производителя. В детстве Итан любил такие упаковки: просил пустые, чтобы делать из них билеты для своего поезда. Я не позволяю воспоминанию развернуться. Сейчас мне нужна точность.

В служебный журнал ввожу повреждение упаковки при плановой проверке. Такая причина предусмотрена. Нужно подтверждение утилизации. На столе стоит контейнер для медицинских отходов с щелью и датчиком. Я беру пустую оболочку от утренней тестовой пробы, провожу под датчиком, опускаю в щель. Терминал просит указать номер.

Я набираю номер новой полоски.

Палец долго остается над подтверждением. Мне кажется, что камера придвигается ближе, хотя она неподвижна. Что дверь откроется прежде, чем я нажму. Что все мои мысли уже записаны где-то аккуратными строками и я просто завершаю формальность.

Потом я нажимаю.

В журнале появляется зеленая отметка. Утилизация подтверждена.

Полоска лежит у меня в кармане.

Я закрываю шкаф, проверяю замок, сажусь. То, что произошло, слишком мало для слов, которыми принято называть неповиновение. Я пока даже не решила, отдам ли ее Одри. Можно вернуть полоску, исправить запись, сослаться на сбой. Можно передумать. От этой возможности я чувствую себя еще трусливее: я совершила действие, но оставила дверь для отступления.

Вейр вызывает меня через внутреннюю связь. Ему нужен отчет до выезда. Я отвечаю, что приду через минуту.

— Все благополучно? — спрашивает он.

Вопрос касается его семьи, моего рабочего места, аптечного шкафа, города в пределах моей полезности. В нем столько пространства, что правдивый ответ мог бы занять оставшуюся жизнь.

— Да, господин Вейр.

Я встаю. Полоска цепляется за подкладку и давит на бедро острым уголком. Хочется поправить ее сразу, но я оставляю руку возле тела. Боль небольшая. У нее есть ясная причина.

В коридоре стекло зимнего сада темнеет от отражений. Одри проходит по другую сторону с пустым подносом. Между нами лимонное дерево, два слоя стекла и камера над поворотом. Она меня не видит или делает вид, что не видит. Я не зову ее.

На мгновение отражения совпадают: ее лицо оказывается поверх моего, чужие глаза смотрят из моей головы. Потом Одри идет дальше. Остается только женщина в светлой тунике, которая утром пожелала здоровья человеку, которого ненавидит, и отказала в помощи тем, кому могла помочь.

В кармане у этой женщины лежит одна неучтенная полоска.

Я иду к кабинету Вейра. Перед дверью выпрямляю воротник, выравниваю дыхание. За стеклом снаружи город выглядит чистым. Белые стены, темные окна, свет, рассчитанный на каждую поверхность.

Утренний диагност сказал то же самое.

Глава 2 Нижний предел

В кабинете Вейра нет стула для меня.

Есть два кресла для гостей, широкий диван под окном и небольшое сиденье у двери, предназначенное для его дочери. Но когда я приношу отчет, я остаюсь стоять. В первый день мне предложили сесть. Я отказалась из вежливости, и отказ превратился в правило. В этом доме собственную покорность приходится обслуживать так же регулярно, как фильтры.

Он читает показатели на планшете. Я смотрю на его руки, чтобы не смотреть на лицо. Полоска в кармане давит на бедро. Мне кажется, от нее расходится тепло, хотя упаковка холодная и ничего не умеет, пока не соприкоснется с кровью.

— У Эвелин опять снижение веса.

— Нужно скорректировать назначение после результатов анализа.

— Она не выполняет рекомендации?

— Пока я не могу назвать причину.

Он поднимает голову. Вопрос о здоровье жены незаметно сменился вопросом о ее поведении. Я могла бы выдать ему удобную виновницу: плохо ест, мало двигается, неправильно относится к лечению. Иногда так поступают врачи, которым хочется закончить разговор. Иногда так поступаю я.

— Сегодня я уточню переносимость препаратов, — говорю я.

— Уточняйте. Только не делайте из этого события.

За его спиной виден зимний сад. Снаружи стекло кажется прозрачным; изнутри оно слегка затемнено, и лимонные деревья выглядят как часть хорошего воспоминания. Вейр выбирает на планшете другую страницу.

— В Южном вам могут давать бумагу. Не переносите ее в дом.

— Медицинские записи?

— Любую. У них там старая сеть. Все, что понадобится, внесете в терминал.

Он произносит это без нажима. Бумага относится к неприятным свойствам нижних кварталов наряду с холодом и плохим освещением. Я киваю, хотя вопрос возник раньше, чем я успела его подавить: почему его волнует то, что я принесу из приемной?

Вейр возвращается к отчету. Для него разговор окончен. Я стою еще секунду, затем спрашиваю разрешения уйти, чтобы окончание стало действительным и для меня.

У служебного выхода на полу лежит мокрая салфетка. Одри собирает воду после мытья порога. Ее ведро стоит на колесиках, одно колесо заклинило, и она передвигает его короткими рывками. Я останавливаюсь перед чертой, отделяющей сухой участок от влажного.

— Машина через четыре минуты, — говорит она.

— Вы просили материал.

Она не поднимает головы.

— Я поняла, что нельзя.

Возле двери есть камера. Если я возьму ее руку, движение будет видно. Если оставлю полоску на полке, ее найдут при проверке. Если скажу название, оно останется в записи. До этой минуты мое неповиновение существовало главным образом в теле: быстрый пульс, сухость во рту, боль от уголка упаковки. Теперь ему нужно место снаружи, и я не умею его выбрать.

— У вас манжета мокрая, — говорю я.

Одри выпрямляется. Я показываю на пятно большим пальцем. Она смотрит на свою руку и сразу закрывает ее второй, будто я указала на рану.

— Это от воды.

— Кожа под тканью может раздражаться. Возьмите салфетку. Сухую.

На полке у выхода стоят закрытые пачки. Я беру одну салфетку, разворачиваю и складываю снова, уже вокруг полоски. Движение получается медленным, нелепым. Камере, наверное, видно все. Мне хочется попросить Одри повернуться спиной, но от такой просьбы наше действие только приобретет смысл.

Она смотрит на белый сверток.

Я протягиваю его.

— Локальный результат нельзя считать заключением, — говорю я. — И нельзя успокаиваться только из-за него.

Одри берет салфетку, не касаясь моих пальцев. На ее лице не появляется благодарности. Она, видимо, еще решает, что опаснее: получить помощь или поверить, что это помощь.

— Когда у сестры следующая смена? — спрашиваю я.

— Завтра. Рано.

— Если нужно будет, я бываю в шестой приемной.

Она прячет сверток под сухую манжету.

— Там все бывают, доктор.

Я не знаю, как ответить. Через стеклянную дверь видно, что машина уже стоит у ворот. На заднем сиденье меня ждет отдельный контейнер с рационом. За все утро я сделала одно запрещенное действие, и город немедленно напоминает, сколько разрешенного продолжает давать мне взамен.

В машине пахнет новой обивкой. Двери закрываются бесшумно. Над моей головой загорается надпись: персональный маршрут, отклонения исключены. Водителя нет; переднее сиденье сложено и превращено в полку. На полке лежит плед. Эвелин велела положить? Или это обычное обеспечение зимней поездки? Я не прикасаюсь к нему, потому что от благодарности человеку из этого дома мне станет хуже.

На экране передо мной открывается приемная. Не изображение, только список ожидающих и время. Внизу зеленеет показатель завершенности: ноль из двенадцати. До моего приезда ни одна из женщин еще не получила права уйти.

Первая — Рэйчел Сенц. Лилиан Арден шестая.

Я узнаю оба имени. Остальные читаю, стараясь запомнить, и понимаю, что уже мысленно делю их на сложных и удобных. Удобная женщина приходит вовремя, отвечает коротко, имеет назначенный союз и показатели в пределах, от которых не возникает дополнительных форм. Сложная требует решения. После решения кто-то должен поставить подпись.

На границе кольца окна темнеют. Я жду, пока они снова станут прозрачными, и все это время вижу собственное лицо на черной поверхности. В отражении мне кажется, что глаза стоят слишком близко друг к другу. Так бывает, когда долго не моргаешь. Я закрываю их, считаю до трех, открываю.

Нижние кварталы подходят к машине сразу, тесно. На балконах закрыты вентиляционные ящики, между домами натянуты переходы, под переходами висят экраны с индексом санитарной дисциплины. В одном доме индекс упал до шестидесяти восьми. У подъезда уже стоит ограждение. Жильцам придется подтвердить дополнительные циклы, прежде чем им восстановят доставку по обычному времени. Пицца приедет позже, потому что кто-то недостаточно правильно заботился о здоровье.

Я когда-то знала девушку, которая писала формулировки для таких экранов. Она говорила, что главное — не употреблять наказание как существительное. Наказание должно выглядеть естественным следствием: задержка, ограничение, корректировка. Потом ее отдел заменили языковой моделью. Я не знаю, чем она занимается теперь. Возможно, живет за одним из этих ограждений и читает более удачные варианты собственных слов.

Возле распределительного пункта женщина держит открытый контейнер, показывает его через стекло сотруднику. Он не смотрит на еду. Смотрит на экран, качает головой. Женщина поднимает контейнер выше. Машина поворачивает, и я теряю их раньше, чем успеваю увидеть, кто сдастся.

Здание шестой приемной стоит между прачечной и бывшим магазином. От магазина осталась высокая витрина с заложенным изнутри стеклом. В щелях между серыми листами видны буквы старой рекламы, выцветшие до цвета кожи. «Для всей семьи». Листы закрывают слово «всей» не полностью.

Над входом в приемную установлен зеленый крест и две камеры. Дверь общая, но прохода два. Слева — явка граждан, справа — подтвержденный персонал. Под левой надписью стоят люди; под правой никого. Моя машина останавливается точно у пустого прохода.

Я беру сумку и контейнер. Плед оставляю.

Внутренняя дверь не открывается. Нужно подтвердить отсутствие внешних материалов. Я вспоминаю запрет Вейра и смотрю на экран. Список включает не только бумагу: непроведенные пищевые продукты, органические образцы, накопители, предметы личного происхождения. Последний пункт допускает практически любое толкование. Я отмечаю отсутствие всех перечисленных вещей. У меня ничего нет, кроме того, что выдал мне тот же город. Для системы этого достаточно.

За дверью пахнет влажной одеждой и недорогим дезинфицирующим средством. Запах сильный, но под ним есть другой, человеческий: давно не просохшие ботинки, горячая кожа, пища в закрытых сумках. В мединституте я привыкла к нему быстро. Потом отвыкла, и теперь стыжусь отвращения, возникающего раньше мысли.

Из бокового кабинета выходит женщина с короткими седыми волосами. На ней темно-зеленая туника без знака домашнего сопровождения. Рукава закатаны; возле локтя закреплена обычная английская булавка. Она смотрит на мой контейнер, затем на янтарную полосу.

— Грейс, — говорит она. — Акушерка. У вас сегодня четвертый кабинет.

— Элис.

— Знаю.

Она не желает мне здоровья. Я не успеваю понять, раздражена она или просто устала, и уже начинаю защищаться внутри себя. Защититься от женщины со старой булавкой мне почему-то легче, чем от Вейра.

— Рэйчел Сенц пришла? — спрашиваю я.

— С девяти сидит.

— У нее время после четырнадцати.

— Она после ночной. Домой бы не успела.

Грейс идет по коридору. Я за ней. Мы проходим мимо скамей, прикрученных к стене. На каждой обозначены места, но женщины садятся ближе друг к другу, оставляя пустой край. Некоторые держат руки внутри рукавов. В конце коридора обогреватель светится красным; до скамей его тепло не доходит.

Я замечаю, как взгляды переходят с моего лица на полосу допуска. В обычной больнице люди смотрят на врача в надежде. Здесь сначала стараются определить, какую опасность он принес.

У двери четвертого кабинета Грейс останавливается.

— Верхнюю одежду можете оставить здесь. Пищу в комнате персонала. В кабинете нельзя.

— Она зарегистрирована.

— Все равно нельзя.

Я слишком крепко держу контейнер, и белый пластик скрипит. Грейс замечает. Не говорит ничего, только показывает подбородком на боковую дверь.

Комната персонала маленькая. Стол, чайник с отсутствующей ручкой, три разных стула. В углу установлен пищевой приемник, рассчитанный на восемь выдач. Четыре контейнера уже лежат в нем, и на всех напечатано 6-18.

Я ставлю свой на свободную полку, поворачиваю номером к стене. Мне сразу хочется развернуть его обратно. Если проверяющий увидит скрытую маркировку, придется объяснять. Я поворачиваю. Грейс наблюдает, не вмешиваясь.

— Воду здесь лучше холодную, — говорит она. — В нагревателе осадок. Заявка подана.

— Когда?

— В январе.

За окном серый двор, узкий настолько, что на другой стороне можно различить облупившуюся краску вокруг замка. Из водосточной трубы капает на пластиковый козырек. Каждая капля звучит отчетливо. Я понимаю, что здесь нет ровного гула домашней вентиляции, к которому привыкла. Здесь слышно, как вещи портятся.

Грейс протягивает мне ключ. Металлический, с овальной биркой.

— Четвертый. Замок иногда заедает. Нужно чуть поднять дверь.

Я беру ключ как инструмент из музея. Еще существуют двери, которые можно открыть, не назвав себя системе. Но эта дверь внутри здания, из которого нельзя уйти без электронного разрешения. Свобода здесь тоже выдается небольшими бесполезными порциями.

В кабинете есть кушетка, ширма, стол и терминал. Кресло для осмотра старое, обивка восстановлена полосами серой ленты. Над ним камера, направленная на вход. Рядом табличка: интимные процедуры исключены из визуального контроля. Я прослеживаю угол обзора. Ширма действительно закрывает часть комнаты; насколько надежно, можно понять только с той стороны объектива.

На столе лежит бумажная форма. Вверху место для имени, ниже — строки показателей, внизу поле согласия. У бумаги потемневшие края. Я разглаживаю ее ладонью. Поверхность не отвечает, не подсвечивает пропуски, не предлагает закончить за меня. От этого возникает странное ощущение, почти растерянность.

— Зачем она? — спрашиваю я.

— При сбое сети. Местный журнал.

— Вейр сказал, у вас старая сеть.

Грейс впервые смотрит на меня прямо.

— Он здесь был?

— Нет.

— Значит, знает лучше нас.

Я включаю терминал, чтобы не продолжать. Ладонь касается панели; на ней появляются мое имя, уровень доступа, сегодняшняя смена. Подтверждение занимает несколько секунд. Затем открывается инструкция, которую я уже читала в доме. При подозрении — предварительная запись до завершения приема.

Грейс достает из ящика картонную папку.

— Тут предыдущие результаты. Часть в общей системе, часть только у нас.

— Почему?

— Потому что система считает некоторые посещения повтором. А женщина пришла снова. Нужно знать, с чем.

В папке двенадцать листов. На каждом фамилия и дата. Между листами есть копировальная бумага. Я помню этот цвет, темно-синий, почти фиолетовый. В детстве мне нравилось проводить ногтем по ее краю, чтобы потом посмотреть на синий палец. Итан такую бумагу не видел.

Грейс кладет рядом перчатки. Коробка наполовину пуста.

— Четыре пары на прием по норме. Дополнительные отмечайте.

— На женщину?

— На вашу смену.

Я смотрю на нее. Она ждет, пока я решу, что именно сделаю со своим удивлением. В доме Вейра я меняю перчатки после прикосновения к ручке шкафа.

— Я оформлю дополнительный расход.

— Оформляйте до использования. Иначе спишут с моего участка.

Я открываю вкладку материалов. Терминал сообщает, что объем выдачи рассчитан по фактической потребности. Нужно указать причину отклонения. В списке нет причины «двена-

дцать человек». Я выбираю риск контакта с биологическими жидкостями. Появляется вопрос, выявлен ли источник риска. Я сижу перед экраном и чувствую, как легко раздражение на машину переходит на Грейс, будто это она написала все варианты ответа.

— Оставьте до первой процедуры, — говорит она. — Тогда будет карта.

— А до процедуры?

Она смотрит на коробку.

— До процедуры у нас чистые руки.

За дверью кто-то кашляет. Из коридора немедленно отвечает спокойный женский голос: сохраняйте дыхательное благополучие. Грейс берет папку, выходит и возвращается с первой женщиной.

Рэйчел Сенц выше меня на полголовы, но стоит так, что я не сразу замечаю рост. Спина согнута, плечи поданы вперед. На ней темное пальто с затертым воротником; она не снимает его даже у стула. Грейс прикрывает дверь.

— Здравия вам, — говорю я.

Рэйчел смотрит на янтарную полосу.

— Вам тоже.

Она произносит ответ неправильно. Я делаю вид, что не замечаю.

— Можете сесть.

— Мне смену подтвердить.

— Сначала нужно провести прием.

— Я не отказываюсь. Мне только подтвердить, что пришла.

Она протягивает карточку. На прозрачной поверхности царапина, проходящая через лицо. Терминал принимает ее не с первого раза. Вторая попытка открывает карту: сорок один год, назначенный союз, двое зарегистрированных детей, предприятие пищевой упаковки. Последняя явка пропущена. Перед этим тоже пропущена.

— Почему не были в феврале?

— Работала.

— У вас было освобождение.

— В карте было. На предприятии не было.

Я вижу отметку, которую она имеет в виду. Одобренное освобождение от трудовой нагрузки до шести часов. Ниже серым: подтверждение принимающей стороной отсутствует. Два учреждения назначили ей находиться одновременно в разных местах, а нарушение осталось в ее деле.

— Я отмечу вашу явку сейчас, — говорю я.

Рэйчел впервые расправляет плечи. Это происходит раньше, чем я приступаю к осмотру. Я не вылечила ее; лишь дала доказательство того, где находится ее тело. Сегодня это приносит более немедленную пользу.

Терминал предлагает стандартный опрос. Дата последнего цикла, изменения, жалобы, прием назначенных средств. Я задаю вопросы. Рэйчел отвечает коротко, и на каждом ответе смотрит на мои руки: что я записываю, сколько букв, нажала ли подтверждение.

На вопрос о боли говорит «нет». Грейс переставляет стул ближе к кушетке. Рэйчел поворачивается, морщится, прижимает ладонь к боку.

— При движении болит? — спрашиваю я.

— Работа тяжелая.

— Я не спрашиваю, почему.

Она молчит. Я понимаю, как прозвучало: будто я уже знаю, что она скрывает. Меня учили задавать вопросы так, чтобы у человека было меньше места для лжи. Пациенту нужно место хотя бы для страха.

— Боль бывает и по причинам, которые не означают опасного заболевания, — говорю я.
— Мне нужно понять, когда она появилась.

Рэйчел смотрит на Грейс. Та стоит у мойки, не торопит.

— После зимних. Сначала редко.

— После праздников?

Рэйчел кивает.

Новый календарь почти избавился от праздников, но люди все еще измеряют время остатками старого. После зимних, до майских, перед школой. Пока они говорят так, у Совета не получается полностью занять год.

Я осматриваю Рэйчел за ширмой. Она снимает пальто, и под ним оказывается два свитера. На запястье след от резинки, над ним сухая кожа в мелких чешуйках. Ступни красные, пальцы холодные. При каждом движении она помогает мне: сама поднимает ткань, заранее поворачивается, извиняется, когда нужно лечь.

— Не извиняйтесь, — говорю я.

— Привычка.

Я знаю эту привычку. У нее почти всегда есть хозяин, которого сейчас нет в комнате.

Осмотр не дает ясного ответа. Есть болезненность, есть признаки истощения, несколько причин требуют проверки. Я измеряю давление, уточняю препараты и характер кровотечений. На последнем вопросе Рэйчел начинает отвечать совсем тихо. Грейс подходит ближе и включает воду.

Я смотрю на нее.

— Смеситель протекает, — говорит она.

Из крана идет ровная тонкая струя. Она не заглушает разговор полностью. Достаточно, чтобы отдельные согласные потеряли резкость. Я не знаю, насколько это помогает системе, сканирующей речь. Но Рэйчел перестает смотреть на потолок.

Грейс подает мне бумажный лист. Я записываю жалобы рукой. Почерк сначала слишком мелкий, словно буквы нужно спрятать. Потом выравнивается. Рэйчел следит за ручкой.

— Это кому пойдет?

— В вашу медицинскую запись.

— А дальше?

Я могла бы сказать: только врачам. Раньше сказала бы, даже если не была уверена. Сегодня пальцы помнят салфетку, в которую я спрятала полоску, и простое успокоение оказывается недоступно.

— Я вижу не все уровни передачи.

Она отворачивается. Честный ответ не сделал ей легче.

Я назначаю дополнительный анализ и уточняющее обследование. По моему допуску ближайшее время должно появиться сегодня. Грейс кладет использованные материалы в контейнер, выключает воду. За ширмой Рэйчел застегивает нижний свитер, потом верхний.

Терминал запрашивает предварительный статус. Я выбираю «требуется уточнение». Еще до отправки проб на экране возникает желтый прямоугольник: маршрут сопровождения сформирован.

Я не сразу понимаю, что смотрю на него слишком долго.

— Что? — спрашивает Рэйчел из-за ширмы.

— Подождите минуту.

Грейс подходит к столу. Ее рука остается на спинке моего стула.

— Не подтверждайте пока, — говорит она.

Слово «пока» звучит легко. Будто речь о неподходящем времени для чайника.

Я открываю подробности. Маршрут есть. В графе основания стоит онкологический риск выше нижнего предела. Ниже указан образец крови, его номер. Образец, который мы еще не взяли.

Я проверяю карточку Рэйчел, дату, текущее посещение. Все совпадает.

Время предварительного решения — тринадцать сорок одна.

Мой вход в кабинет — тринадцать пятьдесят две.

Первый вопрос Рэйчел я задала в четырнадцать ноль одну.

Я возвращаюсь к основному экрану. Терминал предлагает подтвердить направление и уведомить сопровождаемое лицо. На выполнение осталось четыре минуты сорок секунд.

Рэйчел выходит из-за ширмы. Пальто она держит перед собой, не надевает.

— Мне в другой кабинет?

Она не видит экрана. Видит мою спину, руку Грейс на стуле, то, как мы обе перестали двигаться. Я поворачиваю планшет чуть в сторону. Это слишком знакомое движение; женщина в нашей прихожей держала свой именно так.

— Система назначила дополнительный маршрут. Я проверяю основание.

— Это значит что?

Я смотрю на Грейс. Она не поможет мне выбрать слово. И правильно делает: ответ принадлежит врачу, которого привезли в отдельной машине.

— Может потребоваться обследование в другом центре.

Рэйчел надевает пальто. Не торопясь, но все ее движения вдруг приобретают цель. Она продевает руку, расправляет воротник, застегивает одну пуговицу.

— У меня дети в школе. Старшая заберет младшего. Только она не знает, что меня не будет.

— Решение еще не подтверждено.

— Если их не забрать, сообщают.

Я слышу, что она пытается решить не самый страшный вопрос, а тот, для которого еще можно придумать действие. Мне знакомо это состояние. Позвонить. Оставить ключ. Найти ботинок. Пока думаешь о небольшом, большое не помещается целиком.

На экране три минуты пятьдесят две.

— Здесь указан анализ, которого не было, — говорю я Грейс.

— В журнале прежние есть.

— Этот сегодняшний.

Грейс наклоняется. Читает номер, возвращается к папке. На ее лице нет удивления, но нет и того знания, которое я уже готова ей приписать. Она перелистывает бумаги, находит нужную.

— Посмотрите конец номера.

В местной записи стоит та же последовательность, с другой последней буквой. Предыдущее посещение — двадцать второго декабря. Рэйчел тогда брали кровь. Она показывает запястье, словно место прокола могло сохраниться и подтвердить ее слова.

— Потом сказали, прийти еще. Я пришла. Там никого.

— Когда?

— После нового года. Не в свой день. У меня только тогда получилось.

Грейс показывает мне запись на обороте. Явка вне расписания, прием не состоялся. Короткая подпись. Той женщины, которая подписала, сегодня нет в списке сотрудников.

Я пытаюсь открыть декабрьский результат. Терминал сообщает: данные включены в актуальную модель, отдельное отображение не предусмотрено.

— Но результат существовал, — говорю я.

— Местный есть, — отвечает Грейс.

Она подает лист.

На нем показатели, требующие уточнения, но ни один не является диагнозом. Есть рекомендация повторить исследование после курса лечения. Нет сведений, что курс вообще был выдан. Я спрашиваю Рэйчел. Она достает из сумки почти пустой блистер, сложенный в маленький пакет. На блистере осталось две таблетки.

— Последние оставила, чтобы показать. В аптеке заменили. Сказали, это то же.

Название другое. Я не знаю, объяснит ли это часть изменений. Мне нужны история, новые анализы, время. Время на экране сокращается, хотя я еще ничего не успела сделать с медициной.

Две минуты девятнадцать.

Я открываю графу обоснования. Там перечислены возраст, трудовой участок, пропуски контроля и прогнозная нагрузка. Под показателями последняя строка: клиническое подтверждение уполномоченным специалистом.

Пустая.

Мое имя уже стоит рядом.

Я понимаю только то, что вижу: решение подготовлено до встречи со мной, а ответственность появится после моего прикосновения. Не понимаю, что именно определило его, какое из чисел перевесило остальные, считается ли этот маршрут лечебным. Может быть, программа обнаружила серьезный риск, который я еще не могу увидеть. Может быть, объединила две разные пробы. Может быть, все рассчитано верно. Но слово «верно» здесь почему-то требует от меня подтвердить несуществующее действие.

— Элис, — говорит Грейс.

Она впервые произносит мое имя. Я отвлекаюсь от таймера.

— Есть несоответствие образца. Можно запросить проверку.

— Если отклонят?

— Тогда будет отказ.

Она не обещает ничего. Никакого тайного хода, надежного способа, доброго человека в соседнем кабинете. Только другая кнопка, которую я пока не искала.

Я нахожу ее в дополнительном меню. Не «отменить». «Возврат на техническое уточнение». Для возврата требуется выбрать ошибку. Несоответствие времени, идентификатора или типа материала. Я выбираю время и записываю: забор биологического материала в рамках текущего посещения не осуществлялся.

Терминал просит подтвердить, что я понимаю последствия задержки.

Я не понимаю последствий задержки. Понимаю последствия подписи достаточно, чтобы не ставить ее сейчас.

Отмечаю понимание.

Желтый прямоугольник исчезает. Несколько секунд экран остается пустым, и мне кажется, что я только что отключила свет во всем здании. Потом появляется серый статус: сверка, ожидание специалиста по маршрутам. Отдельное окно предупреждает, что пациентке нельзя покидать зону явки до разрешения.

Я не освободила Рэйчел. Переместила ее из одной формы ожидания в другую.

— Сядьте, — говорю я. — Пожалуйста.

Она садится на самый край.

— Мне надо позвонить.

Грейс снимает с настенного аппарата трубку. У аппарата длинный шнур, замотанный черной лентой. Разрешены только зарегистрированные семейные связи. Рэйчел набирает номер дочери с карточки. Первые два раза не соединяют. На третий в трубке слышится тонкий голос.

— Это я, — говорит Рэйчел. — Забери Лиаму. Да, сама. Ключ у тебя.

Она слушает. Закрывает свободной рукой рот, потом убирает руку: говорить сквозь ладонь система не любит.

— Нет. Я задержалась. Не бойся. Разогрей, что есть. Не весь контейнер, половину. Другую половину ему.

Я смотрю на запястье Грейс. Булавка у локтя раскрылась, она застегивает ее одной рукой. Мы обе стараемся не слышать, как голод делят между двумя детьми.

Рэйчел возвращает трубку. Вдоль края пластикового аппарата остаются влажные следы. Она сразу стирает их рукавом.

— Извините.

Грейс забирает трубку прежде, чем я успеваю снова попросить ее не извиняться.

Через семь минут приходит сотрудник маршрутов. Я вижу его значок раньше лица. На значке нет медицинского символа, только номер и белый квадрат. Мужчина молодой, с аккуратной бородой, в серой куртке поверх рубашки. В руках небольшой планшет.

— Кто вернул направление?

— Я.

Он смотрит на мою полосу, и голос становится менее резким.

— Там автоматическая оценка. Сегодняшнее время — это время пересчета. Образец архивный.

— В графе указано получение сегодняшнего материала.

— Так отображается перенос.

— И требуется мое клиническое подтверждение.

— После контакта с гражданкой.

Рэйчел сидит между нами, но он смотрит только на меня. Я спрашиваю, какие новые данные привели к формированию маршрута до контакта. Мужчина проводит пальцем по планшету.

— Пересчет нижнего предела.

— Какого?

— Допустимого риска.

— Риск чего именно?

Он поднимает глаза. Кажется, я нарушила размер разговора, на который он был готов.

— Доктор, медицинская модель не в моей компетенции. Техническое отображение разъяснено. Вы можете подтвердить или направить очное несогласие.

— С чем мне предлагается согласиться, если результат закрыт?

— С необходимостью профильного обследования.

Слова разумные. Профильное обследование бывает необходимо; отказ от него может причинить вред. Я слишком хорошо знаю, как легко страх перед системой заставляет пропустить болезнь. Если я сейчас отпущу Рэйчел и у нее действительно тяжелое заболевание, ответственность не станет меньше от моей ненависти к маршруту.

— Назовите учреждение, — говорю я. — И срок возвращения.

Мужчина смотрит на планшет, потом на Рэйчел, будто вспоминает, что она тоже слышит.

— Учреждение определяется после подтверждения.

— Возвращение?

— По результату.

Она закрывает глаза.

Я вспоминаю Мэтью, задававшего те же вопросы. В кабинете нет его лица, нет запаха мокрых комбинезонов, но мои руки уже холодные. Я прижимаю пальцы к столу. Не нужно делать из Рэйчел мою семью. Ей нужен врач, способный прочесть ее собственные данные.

Я открываю очное несогласие. Там требуется заключение с медицинским обоснованием. Нельзя писать: я видела, как люди исчезают. Нельзя писать: вы пугаете ее. Можно написать то, что установлено в комнате.

Я вношу отсутствие данных для подтвержденного онкологического статуса, необходимость получить исходный результат и выполнить повторное исследование. Назначаю ближайшее доступное уточнение здесь. Выбираю ограничение трудовой нагрузки на сутки.

— Это не утверждение здоровья, — говорю я Рэйчел. — Обследование нужно продолжить.

Она смотрит на меня так, словно я пытаюсь вернуть ей вещь, которая сломается в руках. Сотрудник читает запись.

— Допуск позволяет, — произносит он наконец. — Но отклонение уйдет на оценку.

— Пусть уйдет.

Я успеваю пожалеть об интонации раньше, чем он отвечает. Слишком коротко, слишком похоже на вызов. Нужно было сказать: принимаю порядок оценки. Он несколько секунд смотрит на меня, затем отмечает что-то в планшете.

— Сохраняйте профессиональное благополучие.

Когда он выходит, на экране появляется разрешение покинуть зону явки после забора пробы. Через сутки — повторный прием. Рэйчел не двигается, пока Грейс не произносит это вслух.

— Сегодня домой. Завтра сюда. Время распечатаю.

— А на работу?

— Освобождение передано, — говорю я.

— На предприятие?

Я проверяю. Статус: доставлено. Открываю подтверждение принимающей стороны. Еще серый. Запрашиваю его с янтарным приоритетом. На этот раз появляется зеленый.

Рэйчел подносит карточку к груди. Пальто застегнуто только на одну пуговицу; нижние полы расходятся, виден старый свитер. Она старается сказать спасибо, но выходит только короткое «я». Потом замолкает.

— Грейс даст вам направление, — говорю я.

Рэйчел кивает. Когда встает, придерживается за край стола. Я не протягиваю руку вовремя. Грейс уже рядом.

После забора крови они выходят вместе. Я остаюсь сидеть. В нижнем углу терминала указана завершенность: один из двенадцати. Под ней время приема и пометка о превышении. Система увидела только то, что я работала медленно.

На бумажном листе Рэйчел осталось пятно от моего пальца. Я нажимала слишком сильно, и чернила размазались. Среди строк нахожу обозначение ее предприятия: участок санитарной упаковки, распределительный узел шесть. В профессиональной карте то же предприятие обозначено иначе, как участок автоматизированного пищевого обслуживания. Возможно, реорганизация. Возможно, еще один перенос, который отображается так.

Я кладу лист в папку.

Потом вынимаю и записываю номер архивного образца на полях своего расписания. Не переношу домой. Даже не решаю, зачем он мне. Просто оставляю девять знаков там, где смогу увидеть их через час.

Грейс возвращается.

— Следующая готова.

— Часто так бывает?

Она понимает вопрос, хотя я не уточняю.

— Разное бывает.

— Решение раньше приема.

— Раньше тоже считали по архивным. Теперь чаще.

— После изменения предела?

Грейс убирает бумагу Рэйчел в отдельную папку.

— Нам не присылают предел. Нам присылают людей.

Я смотрю на свои руки. Утром оттирала их до боли, сейчас на подушечке указательного пальца черное пятно. Хочется смыть немедленно. Еще сильнее хочется оставить, чтобы не забыть, что сегодня они делали.

Следующая женщина имеет назначенный союз и никаких видимых нарушений. У нее сухость кожи и тревога после смены препарата. Она принесла коробку, аккуратно обернутую в прозрачную пленку, чтобы маркировка не стерлась. Я объясняю назначение. Проверяю сроки. Не могу выдать обещания, которого она ждет: что эта коробка гарантирует ей безопасную жизнь. Могу скорректировать прием и назначить контроль. Она слушает внимательно, почти с обидой, будто хорошее поведение должно было дать ей больше.

За ней женщина на шестом месяце разрешенной беременности. Разрешение сложено в четыре раза, хранится отдельно от остальных документов. Она разворачивает его передо мной прежде, чем садится. Грейс закрывает бумагу ладонью.

— Мы видим статус. Давайте послушаем ребенка.

Женщина ложится, расстегивает одежду. Сначала держит лицо неподвижным. Когда появляется быстрый звук сердцебиения, ее подбородок дрожит. Она улыбается, потом быстро перестает, будто улыбка может привлечь лишнее внимание к тому, что внутри.

В комнате несколько секунд существует только этот звук. Он не знает ни разрешения, ни фамилии, ни показателя завершенности. Я слушаю дольше, чем требуется, и Грейс не торопит меня.

В прошлом я проверяла собственный живот ночью, после работы, когда Итан еще был таким же быстрым звуком. Мэтью прикладывал ладонь к наушнику и спрашивал, почему так часто. Я объясняла. Он переспрашивал, хотя, кажется, все понимал с первого раза. Ему просто хотелось, чтобы разговор продолжался.

Я выключаю аппарат и говорю женщине то, что могу сказать уверенно: сейчас сердцебиение есть, по этому осмотру немедленных причин для тревоги я не вижу. Она повторяет последнее предложение без слова «сейчас». Я не исправляю. У надежды слишком короткое дыхание, чтобы требовать от нее точности каждый раз.

Следующие два приема проходят без появления маршрута, и я ловлю себя на том, что считаю это успехом. У одной женщины продолжают кровотечения после замены препарата, другая просит восстановить доступ к назначению, закрытому после смены предприятия. Я вношу жалобы, проверяю показатели, исправляю срок. Грейс находит старый лист с подписью предыдущего врача. На втором приеме я уже знаю, где лежит копировальная бумага, и сама поднимаю край заедающей двери. К чужой недостаточности привыкаешь быстро, если от тебя ждут, что ты будешь работать внутри нее.

К шестнадцати часам у меня болит голова. Пищевой контейнер стоит в комнате персонала. Я не открываю его. Между приемами пью холодную воду из бутылки, которую привезла с собой. Грейс делает несколько глотков из кружки без рисунка. На дне кружки темная полоска осадка.

— Вы ели? — спрашивает она.

— Потом.

— Потом будет поздно. Тут до конца смены.

— Я знаю.

Она отворачивается. Я сказала слишком резко. Все чаще мне кажется, что простой вопрос другого человека отнимает у меня право распоряжаться хотя бы своим голодом. Хотя я уже давно им не распоряжаюсь.

— У вас на коробках шесть восемнадцать, — говорю я.

Грейс ставит кружку.

— Партия?

— Да.

— Сегодня с утра.

— Не было жалоб?

— На что?

Я хочу сказать: на вкус. Только после Одри это слово уже не выглядит безопасным. Грейс смотрит на меня внимательно, и я понимаю, что либо должна задать настоящий вопрос, либо прекратить заставлять ее угадывать.

— На необычную реакцию после еды.

— Бывает тошнота. Бывает, люди не ели со вчера и получают горячее. По одному контейнеру ничего не выяснить.

Она говорит как медик. Без намек, без приглашения к тайне. От этого я чувствую облегчение и одновременно разочарование, за которое стыдно: мне захотелось, чтобы чужая беда быстро сложилась в объяснение моей.

— Есть записи? — спрашиваю я.

— По жалобам — в картах. По еде — у поставщика.

Из коридора доносится короткий сигнал вызова. Грейс проверяет список.

— Арден. Шестая.

Я опускаю глаза на расписание. Рядом с номером Рэйчел, который я написала от руки, стоит имя Лилиан. Чернила пересекают край печатной строки. Получается, будто я уже зачеркнула ей что-то.

— Позовите, — говорю я.

Грейс открывает дверь.

Лилиан входит не сразу. Сначала в проеме появляется рука с карточкой, затем плечо. Она задерживается у порога, осматривает комнату, ширму, камеру. На ней широкая куртка защитного цвета, старые ботинки с тонкими шнурками. Волосы светлые, коротко подстриженные, будто их обрезали самостоятельно, ориентируясь только на то, что мешает. Лицо молодое, но выражение не соответствует молодости: человек передо мной уже знает несколько способов не отвечать на вопрос.

— Лилиан Арден? — спрашиваю я.

— Лили.

Она поправляет меня быстро, почти сердито. Потом смотрит на мою полосу, и я вижу, как она решает, не стало ли это ошибкой.

— В записи Лилиан, — говорю я. — Как вам удобнее, так и буду обращаться.

Лили стоит, будто не уверена, что я закончила.

Я показываю на стул. Она садится, не снимает куртку, карточку кладет на край стола и сразу придерживает двумя пальцами. У ног пустая тканевая сумка. Она ставит ее так, чтобы ручка оставалась в ладони.

— Вы впервые у меня.

— А вы здесь впервые.

Грейс занимает место у шкафа. Я не смотрю на нее, хотя очень хочется проверить ее реакцию. Мне кажется, Лили испытывает меня. Возможно, просто сообщает факт. Страх делает даже точность похожей на нападение.

— На этой смене впервые, — отвечаю я. — Раньше были другие приемные.

— Там тоже с этой полосой?

— Да.

Она кивает, словно получила нужный результат. Я подношу ее карточку к считывателю. На экране появляется изображение: длинные волосы, слегка растерянная улыбка. Фотография сделана три года назад. Девушка на карточке гораздо охотнее верит человеку, который просит посмотреть в камеру.

Назначенного партнера нет. Трудовой допуск действителен. Предыдущая репродуктивная проверка шесть недель назад. Повторная явка назначена по изменению контрольных данных. Какие именно данные изменились, основная страница не показывает.

— Есть жалобы? — спрашиваю я.

— Какие нужны?

— Те, которые у вас есть.

Она смотрит на терминал.

— Если есть, это нарушение?

— Жалоба сама по себе не нарушение.

— А если раньше не говорила?

В комнате становится слышно, как за окном вода ударяет по козырьку. Разговор наконец подошел к тому месту, где любое успокоение потребует от меня лжи.

— Зависит от обстоятельств, — отвечаю я.

Лили слегка отодвигает карточку к себе.

— Значит, есть.

— Я не могу оценить обстоятельства, пока не знаю их.

— А когда узнаете, уже нельзя будет обратно.

Она произносит это без вопросительной интонации. Я чувствую, как между нами возникает прежняя привычная роль: врач предлагает доверие, женщина отказывается, врач записывает отказ. После этого все можно закончить в пределах нормы. Я даже вижу нужную строку на экране.

Грейс передвигает коробку перчаток. Дополнительные наконец выдали после Рэйчел, но я все равно пересчитываю остаток перед каждым приемом. Она кладет одну пару возле меня и не отходит.

— Можно сначала без записи? — спрашивает Лили.

Я не отвечаю сразу.

— Только вопрос, — добавляет она. — Не про меня.

Я могла бы предупредить, что система записывает звук независимо от карты. Должна предупредить. Не знаю, насколько полно здесь ведется аудиоконтроль, но ее незнание не должно быть моим преимуществом.

— В этом помещении нет гарантии частного разговора, — говорю я.

Лили смотрит на камеру. На ширму. Потом на Грейс.

— Я поняла.

Она уже собирается подняться. Я узнаю это движение: вперед на стуле, плечи к двери, сумка под рукой. Поднимается человек, который решил уйти раньше, чем его заставят остаться. Но разрешение на выход еще не выдано, и она, вероятно, знает это лучше меня.

— Лили, — говорю я. — Вы можете задать общий медицинский вопрос. Я отвечу в тех пределах, в которых могу.

— Вы сначала спрашиваете или записываете?

— Сначала спрашиваю.

— Но это вы уже записали.

Я смотрю на экран. В поле жалоб появилась фраза: повышенная тревожность, сопротивление первичному опросу. Я не вводила ее. Терминал предлагает принять автоматически подготовленную запись.

Над строкой маленький значок речевой модели. В доме такой значок тоже есть, но там программа обычно предлагает более удобные формулировки: обеспокоенность самочувствием, потребность в разъяснении. Сейчас мне передают описание той же человеческой реакции с другой стороны границы.

— Это предложение системы, — говорю я.

— А вы оставите?

Я удаляю фразу. Пустое поле начинает мигать, требуя заполнения. Мне нужно задать вопрос, провести осмотр, понять, зачем вызвали эту женщину. Вместо этого я почти минуту доказываю, что не обязательно буду использовать против нее все, что она скажет.

— Нет, — отвечаю я.

Лили впервые отпускает карточку.

В этот момент свет в кабинете гаснет.

Не полностью. Сначала темнеет потолочная панель, потом терминал, затем на стене включается узкая аварийная полоса. Камера перестает поворачиваться, но маленький огонек под объективом остается. Из коридора слышно, как женщины начинают вставать. Голос домового узла обрывается посреди слова.

Грейс сразу идет к двери.

— Сидите на местах, — говорит она в коридор. — Переход на резерв. Двери работают.

Я слышу, как она проверяет замок, поднимает дверь за ручку и возвращается. Для нее это уже происходило. Для меня темный терминал внезапно превращает кабинет в незнакомую комнату. Исчезли имя, статус, время. Передо мной сидит женщина, о которой я еще почти ничего не знаю.

Я открываю ящик, достаю маленький фонарь. Свет падает на стол. Лили неподвижна. Она смотрит не на меня, а на погасший экран.

— Резерв звук пищет? — спрашивает она.

Грейс молчит секунду.

— У камеры отдельное питание. Про остальное не скажу.

Лили кивает. Этот ответ, кажется, она принимает охотнее любого успокоения.

Я придвигаю чистую бумажную форму. Имя нужно вписать вручную. В поле согласия пусто. Мне хочется начать с него, но я останавливаюсь: подпись человека под тем, чего он не понимает, ничего не исправляет.

— Пока можно поговорить о самочувствии, — говорю я. — Осмотр будем делать только при достаточном свете.

Лили опускает глаза. Свет фонаря попадает на ее руки. Ногти короткие, на большом пальце черная полоска под краем, у запястья следы мелких ожогов. Рабочие руки, хотя ей всего двадцать два.

— Вы где работаете?

— Прачечная. Через стену.

— Химические средства, пар?

— И то и другое.

— Бывают обмороки?

— Нет.

Ответ быстрый. Слишком быстрый, чтобы понять что-нибудь кроме того, что ей не нравится слово.

— Тогда головокружение?

Она смотрит на Грейс. Акушерка стоит у мойки, но воду не включает: при аварийном питании насосы могут не восстановить давление.

— Бывает, — говорит Лили. — У многих.

— Когда началось у вас?

— Недавно.

Я не записываю это сразу. Жду, пока она закончит движение рукой. Лили разглаживает куртку над животом, замечает мой взгляд и складывает ладони на сумке.

Такое движение ничего не доказывает. Пальто Рэйчел, два свитера, холодная комната. Женщины держат руки перед собой по множеству причин. Сегодня я уже видела, что происходит, когда предположение начинает жить как результат.

— Можно воды? — спрашивает она.

Я беру свою бутылку. На дне осталось немного. Грейс достает новый стакан из запечатанного пакета. Лили принимает его обеими руками и делает маленький глоток. Прежде чем выпить второй, смотрит на бутылку.

— У вас такая же?

— Что?

— Вода.

Я вижу этикетку класса А. До этой минуты держала ее к себе. Поворачиваю бутылку так, чтобы Лили могла прочесть.

— По служебному допуску, — говорю я.

— Нам выдают без буквы.

— Воду здесь должны проверять.

— Я не спрашиваю про здесь.

Она допивает. На губах остается влажная полоска, которую она стирает тыльной стороной ладони. В темноте ее лицо кажется еще моложе. Я вдруг понимаю, что она не искала скрытого смысла; хотела узнать, одно и то же входит в наши тела или нет.

Я не знаю ответа достаточно точно. Категория снабжения означает разный уровень контроля, но состав иногда совпадает. Иногда нет. Формально у меня есть доступ к накладным своего класса. К ее воде доступа может не быть. Мы сидим за одним столом, и между нашими стаканами проходит граница, которую я не могу снять даже вопросом.

— Проверки разные, — говорю я наконец.

Лили смотрит на пустой стакан.

— Понятно.

За дверью слышится спор. Кто-то требует выпустить, потому что пропадет последняя передача смены. Грейс выходит. Сквозь щель доносятся ее короткие ответы, затем другой голос, мужской. Я различаю слова «длительность», «ответственный» и свое служебное звание.

Лили кладет стакан на стол.

— Я не хотела к вам, — говорит она.

— Вам назначили.

— Я знаю.

— К другому врачу?

Она качает головой.

— Вообще. Но если не прийти, приходят домой.

Мне хочется сказать, что она поступила правильно. Эта фраза готова, хорошо подходит к официальной странице приема. Я не произношу ее.

— Сейчас вы здесь, — отвечаю я. — Давайте начнем с того, что нужно вам.

Лили смотрит на меня долго. Потом открывает рот, но слова не выходят.

В аварийной полосе что-то щелкает. Терминал включается прежде потолочного света. На черном экране возникает белая эмблема Совета, затем предупреждение о восстановлении связи. Над моим расписанием мигает уведомление: незавершенный прием, требуется сверка локальных действий.

Лили закрывает рот.

Свет возвращается сразу, слишком ярко. Мы обе щуримся. Теперь снова видны полосы допуска, номер кабинета, время. Мир восстановил различия раньше, чем мы успели договориться хоть о чем-то.

Грейс возвращается с бланком аварийного перерыва. В течение сбоя можно было выполнять только помощь по срочным показаниям; все остальные действия нужно перенести в запись. Она кладет бланк рядом с пустой формой Лили. Я указываю: опрос, жалоба на головокружение, осмотр не проводился. В графе несанкционированных действий оставляю прочерк. Стакан воды не имеет своей графы.

Терминал раскрывает карту заново. Теперь дополнительные основания видны. Изменение контрольных данных связано с расхождением домашнего опроса и пищевого мониторинга. Рекомендован целевой репродуктивный скрининг. Возле рекомендации нет диагноза. Только пустое место для моего подтверждения, как было у Рэйчел.

Я чувствую, что Лили смотрит на мое лицо. Не на экран. Ждет, что знание выдаст себя раньше слов.

— Для начала нужно уточнить несколько дат, — говорю я.

Она сжимает ручку сумки. Я придвигаю бумажную форму так, чтобы мы обе могли ее видеть. Ручку кладу между нами, не на своей стороне.

— И я буду объяснять, что собираюсь записать.

Лили не благодарит. Не расслабляется. Но, когда я спрашиваю, можем ли мы продолжить, кивает.

На экране появляется первое обязательное поле. Я знаю, что за ним последуют другие, а затем решение, которое уже нельзя будет оставить пустым. Вейр сказал: не допускайте лишней мягкости. Рэйчел ушла домой, но ее дело вернется завтра. Одри получила полоску, но я еще не знаю, что она покажет. Ни один из моих сегодняшних поступков не закончился там, где я поставила точку.

Я смотрю на Лили.

— Когда у вас была последняя менструация?

Она опускает глаза на ручку между нами. Через стену прачечной идет низкая вибрация, и по поверхности воды в оставленной бутылке расходятся мелкие круги.

Лили не отвечает сразу.

На этот раз я жду.

Глава 3 Неназначенное

— В январе, — говорит Лили.

За стеной меняется звук прачечной. Низкий гул становится выше, вода в бутылке дрожит чаще. Я жду продолжения, не касаясь ручки. Лили смотрит на нее так, словно слово попадет в систему, едва я возьму ее в пальцы.

— Число помните?

— Двенадцатого. Или тринадцатого.

Я смотрю на календарь в верхнем углу экрана. Четырнадцатое марта. Два месяца — это не диагноз. Два месяца могут означать голод, перенапряжение, болезнь, изменение препаратов. Я перечисляю причины про себя быстрее, чем они успевают приобрести смысл. Среди них есть одна, ради которой ее вызвали в этот кабинет.

— После этого не было?

— Немного. В конце февраля.

— Как обычно?

Она качает головой. Я спрашиваю о боли, слабости, препаратах. Голос получается слишком ровным. Так я говорила с Мэтью в первые дни после рождения сына, когда обнаружила у ребенка желтизну кожи и старалась не напугать мужа раньше анализа. Тогда ровный голос скрывал страх за пациента. Сейчас — страх перед тем, что я должна буду с ним сделать.

Лили отвечает. Тошнота по утрам, усталость, головокружение при резком подъеме. Боли сейчас нет. Иногда тянет вниз. Она думала, что это от работы.

— Я не спрашиваю, почему вы думали так, — говорю я. — Спрашиваю, что происходит.

Она поднимает глаза. Взгляд жесткий, и я понимаю, что опять объяснила ей слишком много. У человека, которого могут обвинить в сокрытии, причина мысли — тоже обстоятельство дела.

— На прежнем приеме брали пробу?

— Палец. На домашний статус. Потом вопросы.

Я открываю посещение шестинедельной давности. В нем стоит репродуктивная норма, сформированная по опросу. Подтверждения отдельного анализа нет. В тот день после январского кровотечения прошло меньше трех недель. Даже добросовестная проверка могла еще ничего не установить. Но добросовестность этой проверки я не могу восстановить по зеленому слову.

Грейс подходит к столу.

— Давление сначала?

Я киваю. Мне нужно простое действие, которое можно выполнить правильно. Грейс протягивает манжету. Лили снимает куртку не сразу: сначала смотрит на ширму, потом на дверь. Под курткой свободная серая кофта. Ничего заметного. Я ловлю себя на том, что ищу заметное, словно оно разрешило бы мне не думать.

Давление ниже среднего, но не требует немедленного вмешательства. Пульс частый. Лили наблюдает за числами, пока манжета сдавливает руку.

— Это плохо?

— Само по себе не говорит о причине. Вы давно ели?

— В обед.

— Что?

— Что дали.

Грейс снимает манжету. Пальцы Лили краснеют, когда возвращается кровоток. Я снова хочу спросить номер партии и останавливаюсь. Человеку передо мной нужна помощь с его телом. Мои подозрения могут подождать, пока он получит хотя бы ее.

На терминале два действия: выполнить целевую пробу и зарегистрировать предварительное отклонение. Первое отправит результат сразу, второе уже сейчас обозначит причину контроля. Я раскрываю инструкцию еще раз. Читаю то, что знаю: подозрение вне назначенного союза, запись до завершения приема. В ней нет различия между женщиной, которая хочет ребенка, и женщиной, которая боится того, что с ней произошло. Нет места для вопроса, является ли этот мужчина опасным. Есть поле для его идентификатора.

— Нужно проверить возможную причину задержки, — говорю я.

Лили не спрашивает, какую. Смотрит на экран.

— Проверите — и что?

— Сначала я объясню, какие обследования нужны.

— Вы уже знаете.

— Пока нет.

— Но это туда пойдет.

Она показывает подбородком на терминал. Я молчу секунду. Правильный ответ здесь не равен полезному.

— Некоторые результаты передаются автоматически. Если возникнет основание, я обязана создать запись.

Лили смотрит на Грейс.

— Я могу отказаться?

— От процедуры вы можете отказаться, — отвечаю я. — Сам вызов и отказ останутся. На следующем уровне могут потребовать проверку повторно.

Я не произношу слово «принудительно». Оно уже сидит между нами и не нуждается в моем голосе.

Лили надевает куртку. Движения быстрые. Кофта задирается сзади, она тянет ее вниз, встает.

— Тогда я пойду.

Я не могу сказать, что ей разрешат пройти выход. Не могу и встать перед дверью: слишком ясно вижу руку человека в темной форме на собственной груди. Грейс немного отодвигается от прохода. Между женщиной и дверью остается пустое пространство.

— Перед тем как уйти, — говорю я, — послушайте, пожалуйста. Отсутствие боли сейчас не означает, что можно совсем не обследоваться. Задержка и слабость требуют проверки независимо от записи.

Лили кладет ладонь на спинку стула.

— Независимо не получится.

Это правда. Я пытаюсь произнести старое медицинское предложение в мире, где оно перестало работать, и она слышит полонку раньше меня.

Грейс закрывает коробку с пробами.

— После сбоя прибор для первичных анализов еще не принят, — говорит она. — Сверка в третьем. Если хотите, можно запросить осмотр на месте. Аппарат визуализации проверен утром, на своем питании.

Я смотрю на нее. Это не тайное предложение. В помещении продолжается запись. Грейс предлагает предусмотренную процедуру, которая в случае беременности тоже должна попасть в карту. Разница лишь в том, что между изображением и передачей стоит человек.

— Проверки не закончены? — спрашиваю я.

— Уведомление не пришло. Может, уже закончены. Надо посмотреть.

Она не обещает мне полчаса свободы. Оставляет несколько минут, в которых я могу выбрать, что выяснять первым.

Я открываю состояние оборудования. Анализатор находится на технической сверке. Прибор для ультразвукового осмотра отмечен исправным; связь с архивом ожидает восстановления. Внизу написано: локальная работа допустима с последующим переносом.

— Мы можем начать с осмотра, — говорю я Лили. — Изображение будет нужно сохранить. Я не могу обещать, что оно останется только здесь.

— А до того как сохраните, я узнаю?

— Да.

Она смотрит на меня долго, затем садится обратно.

— Не показывайте никому раньше меня.

Я соглашаюсь. Это обещание кажется маленьким, почти ничего не меняющим. Оно все равно требует от меня больше, чем любое сегодняшнее обязательство перед Вейром.

Грейс поднимает дверь за ручку, закрывает до щелчка. Проверяет ширму, переставляет ее на ладонь вправо. Камера продолжает смотреть на вход. Я объясняю Лили, как пройдет осмотр, и получаю согласие. Она кивает, но я жду ответа словами. После утреннего «чисто» я слишком хорошо понимаю, сколько значения можно приписать одному движению.

— Я согласна, — произносит она.

Кушетка холодная. Грейс приносит простыню из подогреваемого шкафа, который пережил отключение, и я впервые вижу, что Лили благодарит ее взглядом. Мне она так не смотрит. Я принадлежу другой части комнаты, даже когда стою за ширмой.

На животе у Лили маленький шрам возле пупка. Она замечает мой взгляд.

— Ожог. Давно.

— Сейчас не беспокоит?

— Нет.

Я наношу гель. Она вздрагивает, потом старается лежать неподвижно. Пальцы сжимают край простыни. Я предупреждаю, что изображение не всегда получается сразу, что иногда

требуется дополнительное исследование. Разговариваю, пока на экране возникает зернистый серый рисунок.

На секунду я вижу только границы, тени, неправильное отражение от движения. Меня пугает собственное желание ничего не найти. Не ради Лили даже. Ради возможности закончить прием, снять с себя вопрос, вернуться вечером в квартиру с подтвержденным статусом. Я меняю положение датчика и заставляю себя смотреть как врач.

Потом изображение становится яснее.

Я останавливаю руку.

Слишком резко. Лили сразу поворачивает голову ко мне.

— Что?

— Сейчас уточню.

Я проверяю положение, измеряю, возвращаюсь к первой области. Грейс стоит с другой стороны кушетки. Ее лицо неподвижно, только большой палец медленно разглаживает край простыни возле плеча Лили.

Внутри есть беременность.

Я вижу ее достаточно отчетливо, чтобы уже не прикрываться возможными причинами задержки. Несколько измерений, маленькое тело на сером поле. Есть сердечная деятельность. Срок около восьми с половиной недель, предварительно. Уточнения понадобятся, но сейчас они не способны изменить главное.

Все происходит тихо. Нет предупреждения, никакой красной полосы. Аппарат делает то, для чего создан: показывает. Угроза находится в следующем действии.

— Лили, — говорю я. — По этому осмотру вы беременны.

Она закрывает глаза.

Я не знаю, чего ожидала: плача, отрицания, вопроса. Она лежит неподвижно. Только под подбородком быстро движется мышца, будто она пытается проглотить слишком сухой кусок.

— Вы слышите меня?

Она кивает.

— Посмотрите на меня, пожалуйста.

Лили открывает глаза. В них нет удивления. Есть усталость от того, что последнее возможное объяснение закончилось.

— Это точно?

— Беременность видна. По сроку и состоянию потребуется уточнение. Признаков немедленной опасности на этом осмотре я не вижу.

Слова «немедленной опасности» повисают у края простыни. Я сказала их о медицине, она услышит о своей жизни. Исправлять уже поздно.

— Можно посмотреть? — спрашивает она.

Я поворачиваю экран. Грейс поддерживает ее за плечо, чтобы не пришлось резко вставать. Лили смотрит на изображение сначала почти сердито. Потом приближается взглядом, словно от расстояния глаз до стекла может зависеть понятность.

— Вот это?

Я показываю.

Она молчит. Не улыбается. Не делает того, что принято делать на разрешенных изображениях материнства. У нее дрожат пальцы, которыми она держит простыню на груди. Я чувствую раздражение на все картинки, которые уже успели сообщить мне, как именно она должна выглядеть сейчас.

— Там живое? — спрашивает Лили.

— Есть сердечная деятельность.

— Я поняла. Вы можете сказать нормально?

Я убираю руку от экрана.

— Да. Сейчас живое.

Она смотрит еще несколько секунд.

— Не включайте звук.

— Не буду.

Я оставляю изображение, пока она сама не отворачивается. Грейс дает салфетку. Я объясняю, что осмотр закончен, и отхожу за ширму, чтобы она могла одеться. Там стоит терминал. Поле предварительного статуса ждет. Аппарат ждет сохранения локального исследования. Я впервые отчетливо чувствую, что два ожидания направлены друг против друга.

На экране ультразвукового аппарата еще видны измерения. Я не сохраняю пока. Не удаляю. Стою между двумя устройствами, и моя неподвижность тоже длится достаточно долго, чтобы однажды ее могли изучить.

Лили выходит из-за ширмы без куртки, держа ее перед собой. Лицо очень бледное.

— Воды осталось?

Грейс берет бутылку. Несколько глотков есть. Я выливаю их в новый стакан. Лили пьет, затем ставит стакан в мокрый круг от прежнего.

— В карту уже ушло?

— Исследование пока локальное, — отвечаю я.

— Значит, нет?

— Пока нет.

Она сидит, опустив плечи. В этом «пока» нет отдыха. Лишь время, которое быстро теряет форму.

Я спрашиваю, знает ли кто-нибудь. Лили смотрит на дверь, потом на мои руки.

— Теперь вы.

— До сегодня?

Она качает головой.

— Мне нужно понять, есть ли человек, к которому вы можете обратиться, — говорю я.
— Для помощи. Не для записи его имени.

— Имена все равно потом спросят.

Я не возражаю. Обещание не спрашивать сейчас не изменяет форму, которую мне придется открыть.

Лили смотрит на аппарат. Из-за ширмы виден только верхний край экрана.

— У вас есть ребенок?

Вопрос проходит через меня раньше, чем я успеваю выбрать ответ. Мне кажется, в комнате запахло мокрой тканью. Я смотрю на ее сумку, на грубый шов возле ручки.

— Был сын.

Грейс перестает двигаться. Лили отворачивается от аппарата.

— Умер?

— Его увезли.

Я произношу это тихо. В домашней квартире я иногда могу думать такими словами, но вслух обычно говорю: семейные обязательства отсутствуют. Сегодня из меня вышло то, чего нет в моей рабочей записи.

Лили долго смотрит на меня. Потом опускает голову.

— Значит, вы знаете.

Я хочу сказать, что знаю. Дать ей хотя бы это. Но я знаю, как ребенка забирают, когда он уже умеет требовать вернуть отца. Не знаю, как жить с человеком внутри и бояться, что государство узнает о нем прежде, чем ты успеешь решить, кем он будет для тебя. Наш страх соприкасается, но не становится одним.

— Не все, — отвечаю я.

Она сжимает край куртки. Подушечки пальцев белеют.

— Меня здесь оставят?

На терминале есть кнопка предварительной регистрации. Она откроет не только карту. Может измениться право выхода, появиться сопровождение, уйти уведомление на трудовой участок. Я видела такие последствия в других приемных. В некоторых случаях женщина еще уходила домой. В других ее переводили в отдельную комнату. Разницу определял уровень рассмотрения, которого я не видела.

— Если я внесу статус, могут ограничить выход до проверки, — говорю я.

— А если не внесете?

Я не отвечаю. Именно эту часть вопроса я старательно обходила с момента, когда увидела изображение.

Грейс убирает использованный стакан. Не выходит. Я смотрю на нее и замечаю, что она тоже напугана. До этой минуты принимала ее спокойствие за запас прочности, которым можно пользоваться. Она работает здесь каждый день. После меня останется ей.

— Вы можете вернуться к следующей, — говорю я.

Грейс ставит стакан в контейнер и медленно поворачивается.

— Зачем?

— Нам нужно поговорить.

— У нее только что было головокружение. Я останусь.

Она не дает мне ни избавиться ее от ответственности, ни остаться без свидетеля. Я не знаю, какую из этих вещей она выбирает. Может быть, обе.

Я закрываю инструкцию на терминале. Это не отменяет ее. Поле статуса снова занимает экран.

— Лили. Сейчас я могу обсуждать медицинские варианты и то, как вы их понимаете. Я не буду решать за вас, чего вы должны хотеть.

Она поднимает голову резко.

— Вы хотите, чтобы я сказала убрать?

— Я хочу, чтобы вы могли сказать, что нужно вам. Это может быть неясно даже вам самой. Так бывает.

— Им тоже бывает неясно?

Мне нужен миг, чтобы понять, кого она имеет в виду. Совет. Назначенные мужья. Все, кто узнает после меня.

— Им достаточно записи, — отвечаю я.

Лили отворачивается. Грейс садится на свободный стул. От этого в кабинете меняется расстояние между нами: впервые обе женщины находятся на одной высоте с пациенткой.

— Я не хочу, чтобы меня закрыли, — говорит Лили. — Это я знаю.

— Да.

— А остальное не знаю. Утром думала, что знаю. Я даже придумала, что скажу, если вы спросите. Теперь ничего.

Она смотрит на свои ладони.

— Можно хотя бы до завтра не решать?

Я слышу не просьбу о чуде. Просьбу о ночи, в которой она останется человеком раньше, чем станет случаем. Восемь с половиной недель в ее теле уже существуют. Один день не создает их и не устраняет. Но для системы этот день превращает мое незнание в сокрытие.

В дверь стучат.

Два коротких удара. Грейс встает. Я чувствую, как тело мгновенно выбирает прежний порядок: опустить руки, выпрямить спину, закрыть лицо. На экране аппарата за ширмой светится изображение.

— Работаете? — спрашивает мужской голос.

Сотрудник маршрутов.

Грейс открывает дверь на ширину ладони.

— Прием.

— После восстановления нужна сверка. Доктору уведомление пришло.

На терминале мигает конверт. Я не видела, когда он появился.

— Закончу и подтверждаю, — говорю я.

— Нужно до продолжения потока.

Я смотрю на Лили. Она сидит так неподвижно, будто уже получила приказ сохранять неподвижность. Куртка у нее на коленях. Вспоминаю сына в руках человека в белом и немедленно заставляю себя вернуться в кабинет: другой человек, другая дверь, сейчас еще можно действовать.

— Закройте, пожалуйста, — говорю я Грейс. — В помещении пациентка.

За дверью пауза. Затем мужчина отвечает, что подождет в коридоре.

Я открываю уведомление. В нем нужно подтвердить оборудование, выполненные действия и продолжение работы. Пробный анализатор снова в сети. Состояние ультразвукового архива — восстановление, часть записей требует локального переноса.

Одна из этих записей моя.

Свет экрана попадает на лицо Лили. Она не видит текста, но видит, как я читаю.

— Вы меня запишите сейчас? — спрашивает она.

У меня всплывает простая, омерзительно удобная мысль: она попросила не делать этого. Можно перенести вину на нее, сказать, что врач оказался под давлением, женщина ввела в заблуждение, намеренно не раскрыла обстоятельства. Так выглядят многие дела, когда люди с исправными документами пытаются объяснить свои поступки.

Я смотрю на ее руки и понимаю, что уже выбираю, кто останется с последствиями.

— Я решаю, как завершить прием, — говорю я. — За мою запись отвечаю я.

Лили ничего не отвечает. Возможно, не верит. Я тоже пока не верю достаточно.

Я беру ручку. В бумажной форме записаны даты, давление, жалобы. Они принадлежат Лили, а почерк мой. Если завтра мы обе начнем отрицать сегодняшний день, этот лист останется третьим участником разговора.

Я вписываю результат осмотра.

Полностью, как вижу. Предварительный срок, признаки развивающейся внутриматочной беременности, отсутствие выявленной при осмотре срочной патологии. Не называю ее нарушительницей. Не пишу, что она скрывала. Грейс наблюдает за движением ручки, Лили — за моим лицом.

— Это тоже уйдет?

— Этот лист нужно сохранить для лечения, — отвечаю я. — Я не хочу, чтобы при следующем осмотре пришлось гадать, что было сегодня.

— Вы можете не оставлять мое имя?

Вопрос кажется таким небольшим. Убрать несколько букв — и документ будет выглядеть менее опасным. Но без имени его можно присоединить к другой женщине. Я только что спорила из-за чужой пробы, превратившейся в сегодняшнюю. Не могу использовать ту же неопределенность в качестве защиты и уверять себя, что она не причинит вреда.

— Здесь должно быть ваше имя.

Лили отворачивается. Я подвожу ее к границе, которой сама боюсь, а затем прошу доверять мне по эту сторону. Слова о лечении не делают бумагу безопасной.

Я поднимаюсь, подхожу к аппарату. Отправка в архив еще недоступна; можно завершить исследование с локальным сохранением. Раньше это было обычным резервом. Сейчас одна неполадка ставит между женщиной и городом промежуток, которого не предусмотрели для ее свободы.

Я сохраняю исследование на самом аппарате, под настоящим именем. Изображение остается. Никакой невидимости не возникло. От этого мне чуть легче: я не уничтожила единственное достоверное медицинское свидетельство. И страшнее: кто-то после меня сможет его открыть.

Затем возвращаюсь к терминалу и оформляю незавершенное заключение из-за технического перерыва. В запись входят жалобы, необходимый повторный прием и локальный осмотр, требующий переноса. Главного результата там пока нет.

Я знаю, что делаю. Медицинская определенность уже появилась; техническая задержка касается доставки изображения, а не моих глаз. Я использую одно, чтобы отложить другое. Если назову это осторожностью, ложь станет удобнее, но не меньше.

На экране возникает требование зарегистрировать предварительное репродуктивное отклонение. Я не выполняю его. Оставляю заключение незавершенным, назначаю повторный прием на девять тридцать и отмечаю необходимость врачебного уточнения перед автоматической маршрутизацией.

Служебный допуск позволяет задержать окончательную передачу до следующего рабочего цикла. Он не разрешает мне скрывать то, что я уже знаю. Между этими положениями я помещаю свою подпись.

До завтра утром.

Ни одного дня сверх этого система мне не дает. Не дает и гарантии, что кто-то не проверит раньше. Я не отвожу угрозу от Лили. Лишь перестаю подталкивать ее к угрозе собственными руками.

— Я назначила вам повторный прием, — говорю я. — Завтра в девять тридцать. Сегодня окончательная запись не отправлена.

Лили смотрит на дверь.

— Меня выпустят?

— В карте пока нет ограничения выхода. Нужно получить отметку явки у стойки.

Слово «пока» снова занимает больше места, чем все остальное. Я хочу убрать его, но не имею права.

— А завтра?

— Завтра мне нужно будет продолжить обследование и завершить запись. Я сейчас не знаю, как это получится.

Она встает. Слишком быстро, и я поднимаю руку, чтобы придержать. Она отстраняется прежде, чем я прикасаюсь.

— Я сама.

— Посидите минуту. Из-за головокружения.

Лили не садится. Стоит у стула, пока дыхание не выравнивается. Я рассказываю, при каких новых симптомах нельзя ждать назначенного часа, куда обращаться за неотложной помощью. Не наказываю медициной за недоверие. Она слушает, потом спрашивает, будет ли там такая же запись.

— Будет медицинская запись. Но при срочном ухудшении помощь нельзя откладывать из-за страха перед ней.

Она опускает глаза. Я слышу, насколько беспомощно это звучит после всего, что сказала раньше. Иногда правильная рекомендация в неправильном мире становится еще одной формой требования невозможного.

— Я понимаю, почему вы боитесь, — добавляю я. — Мне нужно, чтобы вы знали и о другом риске.

Лили медленно кивает. Грейс кладет на стол распечатанное время. Маленький лист, только фамилия, приемная и час. Лили складывает его, прячет в пустую сумку.

— Это не все, что вы написали?

— Нет, — говорю я. — Это только явка.

Она смотрит на бумажную медицинскую форму. Не просит копию. Я думаю, как странно: у женщины нет ничего, чем она могла бы подтвердить собственную беременность, кроме того, что ей кажется опасным даже держать в руках.

Грейс берет ее карточку, подносит к терминалу. Подтверждение появляется не сразу. Несколько секунд мы смотрим на вращающийся знак, и я уже представляю, что в эти секунды возникает приказ не выпускать. Потом звучит обычный сигнал. Явка подтверждена, повтор назначен.

Лили надевает куртку. Из кармана выпадает маленький моток нитки. Она наклоняется, я тоже, наши руки почти сталкиваются. Я отступаю. Она подбирает моток и начинает разматывать короткий свободный конец, словно необходимо сейчас же привести его в порядок.

— Вам помочь? — спрашивает Грейс.

— Нет.

Лили прячет нитку. Рукав куртки у плеча распорот, под ним видна светлая подкладка. Она, вероятно, носит моток, чтобы зашить при первой свободной минуте. Я испытываю внезапное, почти болезненное желание дать ей другую куртку, еду, деньги — что-то понятное, не требующее медицинского решения. В моей сумке нет ни одного предмета, который можно было бы просто отдать без объяснения происхождения.

— Можно у вас кое-что спросить? — говорит она.

— Да.

— Если завтра я не приду, вы скажете?

Грейс замирает у двери.

Я смотрю на назначенный час. Система знает о нем независимо от меня. Неявка окажется видимой и без моего сообщения. Я могла бы посоветовать уйти из города, спрятаться, не приходить домой. Не знаю ни места, ни человека, который сможет ей помочь. Совет о бегстве из моего кресла стоит дешево; расплатиться придется ей.

— Неявка передается автоматически, — отвечаю я. — И сегодняшний незавершенный прием останется. Я не могу сделать вид, что вас не было.

— Но вы можете сказать больше.

Она уже не просит надежды. Проверяет предел вреда, который я способна причинить.

— Я не буду добавлять то, чего вы не говорили и чего я не установила.

Как мало это обещание дает человеку, о котором я уже установила самое опасное.

Лили подходит к двери. Грейс чуть поднимает ее за ручку. Из коридора видна серая куртка сотрудника маршрутов. Лили сначала смотрит на него, затем возвращает взгляд ко мне.

— До завтра, доктор.

Она произносит «доктор» так, будто пока пробует, можно ли называть меня этим словом.

— До завтра, Лили.

Никакого пожелания здоровья. Ни я, ни она не можем вместить в него то, что сейчас требуется.

Лили выходит. Мужчина отступает, пропуская ее, и заглядывает в кабинет. Я держу на столе бланк аварийного перерыва. Ладонь почти полностью закрывает медицинский лист. У меня возникает страх, что это движение слишком заметно, и желание немедленно убрать руку. Я не двигаю ее.

— Приняли сверку? — спрашивает он.

— Подтвердила восстановление. По текущему приему назначен повтор из-за незавершенного заключения.

— Материал взят?

— Сегодня для лабораторного подтверждения не взят.

Ответ точный и намеренно неполный. Еще утром я думала, что ложь отличается от правды неправильными словами. Теперь вижу, что правдивые можно расположить так, чтобы человек прошел мимо того, что должен был заметить.

Он проверяет планшет.

— Вторая задержка за смену.

— Первая связана с несоответствием данных. Эта с перерывом оборудования.

— Причины вижу. Количество тоже.

Из коридора доносится скрип выходной рамки. Я не могу понять по звуку, пропустила она Лили или остановила. Мне хочется выглянуть поверх его плеча. Я смотрю на планшет, пока он заканчивает отметку.

— С вашим уровнем запись доступна на сутки, — говорит мужчина. — Утром должна быть завершена.

— Повтор в девять тридцать.

— Я вижу.

Он уходит. Я продолжаю держать ладонь на бумаге, хотя больше не от кого ее закрывать. Грейс выходит следом. Несколько секунд остаюсь одна.

На аппарате исследование завершено. На терминале прием отложен. На столе диагноз записан. Три разных описания одного дня, и только одно предназначено женщине, которая сейчас идет по коридору.

Я убираю ладонь. Чернила на листе еще не высохли. В месте, где я держала руку, слово «беременность» слегка расплылось. От этого оно не стало менее читаемым.

Грейс возвращается.

— Прошла, — говорит она.

Я выдыхаю. Этот выдох такой же громкий, как утром после зеленого результата, и мне хочется наказать себя за облегчение. Лили не получила безопасность. Только выход из здания.

— Вы знаете, куда она пошла?

— Дальше рамки не смотрела.

Я киваю. Мне нечего требовать от Грейс. Она уже сделала больше, чем я могла предположить, когда рассердилась на ее вопрос о контейнере.

Грейс берет медицинскую форму. Смотрит на результат. На мою подпись.

— Это оставить здесь?

— Да. В местном журнале.

— В общем?

Я понимаю вопрос. Общая папка попадет на стойку сверки раньше моего возвращения. Отдельная папка не является тайником, но требует, чтобы ее хотя бы спросили.

— В незавершенных. С сегодняшней датой.

Она вкладывает лист в серую обложку и убирает в нижний ящик. На ящике маленький замок. Ключ лежит у нее в кармане. Все происходит открыто, в кабинете с камерой. Никакой защиты, кроме привычного порядка местных бумаг.

— Если спросят, покажу, — говорит Грейс.

Мне неприятно это слышать. Не потому, что она неправа; потому, что я уже успела воспользоваться ее спокойствием и в воображении назначить ей верность.

— Я не прошу вас лгать.

Грейс поднимает глаза.

— Вы уже попросили меня остаться.

В комнате становится холоднее, хотя обогреватель работает. Я смотрю на дверь. За ней ждут еще шесть женщин. Мне нужно принять их, завершить смену, отчитаться перед домом. Грейс может оставить этот разговор до вечера. Не оставляет.

— Я думала... — начинаю я.

Она ждет. Я понимаю, что не могу закончить предложение так, чтобы оно не потребовало от нее простить меня заранее.

— Я хотела, чтобы вы были рядом, — говорю я.

— Была.

— Это мое решение.

— А в кабинете были обе.

Она не повышает голоса. Отсутствие обвинения не дает мне возможности защищаться привычным способом. Я вспоминаю Одри, взявшую салфетку без благодарности. Мне хотелось считать оба поступка помощью. Женщины, которым я помогаю, должны теперь решать, не принесла ли я им еще одну беду.

— Что мне нужно учсть? — спрашиваю я.

Грейс медленно поправляет рукав. Булавка держит ткань выше локтя.

— Здесь замечают людей, которые меняют порядок. Не всегда сразу. Если вам позвонят из дома, вы уедете. У меня смена останется. Потом следующая.

— Я вернусь утром.

— У вас есть назначение?

Я смотрю в расписание. На завтра городская смена не внесена. Я назначила пациентке время, не обеспечив собственное присутствие. В доме Вейра мои действия кажутся мне властью до той минуты, когда нужно распорядиться собой.

— Оформлю повторное ведение.

— Оформите сейчас.

Я открываю служебное назначение и закрепляю необходимость личного завершения обследования. Утренний час должен быть согласован с домом. Терминал направляет запрос. Пока он ожидает, повтор может принять другой врач.

Грейс смотрит на серый знак.

— Вот, — говорит она.

Одного слова достаточно. Я вижу, что сделала с Лили: дала ей ночь, в конце которой меня может не оказаться.

Я повышаю приоритет запроса, ссылаясь на непрерывность ведения после технического перерыва. Вейр получит уведомление, его административный узел тоже. В записи не указан результат, но мое намерение вернуться станет заметным. Между желанием скрыть действие и желанием отвечать за него приходится выбирать раньше, чем мне хотелось.

— Я не оставлю ей просто другой кабинет, — говорю я.

Грейс берет чистую простыню. Кладет на кушетку.

— Тогда дождитесь ответа.

Следующие пациентки входят одна за другой. Я принимаю их, пока серый знак остается в углу. Женщина с ребенком просит разрешить ей кормить во время опроса. Ей не с кем оставить девочку; на предприятии не выдали освобождение сопровождающему. Ребенок совсем маленький, с темными волосами на затылке. Я разрешаю. Не превращаю это в жест милосердия, просто отодвигаю стул так, чтобы она могла удобно сесть.

Во время разговора девочка теребит край кофты матери. Я замечаю, как легко женщина поправляет ткань одной рукой, второй удерживая ребенка. В этом движении нет ничего государственного. Оно выучено ночью, от усталости, из множества попыток уложить голову удобнее. Я смотрю чуть дольше, чем положено. Мать закрывает ребенка от моего взгляда локтем, и я отворачиваюсь к карте.

Другой женщине запрещено продолжать репродуктивную программу по общему уровню здоровья. Она принесла заключение с хорошими результатами, надеется, что я изменю ограничение. Медицинские данные позволяют запросить пересмотр. Само разрешение мне не принадлежит. Я объясняю различие, и она перестает слушать на середине фразы.

— Но вы можете написать, что можно.

Я могу написать, что на данный момент не выявила определенных противопоказаний. Не могу сделать из этого приказ для Совета. Она слышит отказ. Я понимаю ее, но подписываю только то, за что могу отвечать как врач.

После Лили это кажется особенно горьким: я уже позволила себе использовать незавершенность, а теперь требую от другой женщины уважать пределы моего заключения. У них разные дела, разные опасности. Для моего желания казаться последовательной это плохое утешение.

Грейс между приемами моет руки, вытирает полотенцем из отдельного пакета. На тыльной стороне левой кисти красное пятно, кожа раздражена. Я замечала его раньше и считала обычным. Теперь оно кажется частью сведений, которые я должна была собрать о ней прежде, чем просить о помощи.

— Крем есть? — спрашиваю я.

— Есть.

— На ночь лучше...

— Я знаю, Элис.

Я замолкаю. Мне снова захотелось предложить простую заботу там, где требуется выдержать сложный разговор.

К концу смены одобрение приходит. Завтра с девяти до десяти тридцати — повторное ведение двух случаев. После — немедленное возвращение в дом. Отдельная приписка: объем отклонений требует пояснения ответственному лицу.

Вейр одобрил не потому, что понял меня. Ему, вероятно, нужно, чтобы назначенный врач закончил начатую работу и не увеличивал число несогласованных действий. Моя отсрочка теперь имеет срок и наблюдателя.

Я показываю Грейс время. Она читает, кивает.

— Рэйчел в девять. Арден в девять тридцать. Здесь буду с восьми.

Рэйчел тоже вернется. В течение двух часов я позволила себе забыть, что не одна женщина зависит от моей утренней явки.

Последняя пациентка уходит в восемнадцать сорок. В коридоре остаются два человека, ожидающие подтверждений не моего кабинета. На скамье возле обогревателя лежит варенье. Маленькая, красная. Я поднимаю ее, не успев остановиться, и отношу на стойку. Мой палец под провязанной петлей чувствует чужое тепло, которого там давно нет.

Женщина за стойкой принимает варенье как обнаруженный предмет, записывает время и кладет в прозрачный пакет. Для возвращения потребуется описание принадлежности. Я не говорю, что девочка, кажется, была у меня. Не уверена, и дополнительная уверенность может отправить вещь не тому ребенку. Сегодня я учусь не превращать каждое желание помочь в знание.

В комнате персонала стоит мой контейнер. Пломба цела. Я смотрю на время выдачи и понимаю, что почти весь день не ела. В желудке пустая тупая тяжесть, руки дрожат. Это объясняет часть симптомов, которых я испугалась утром. Знание снова приносит меньше облегчения, чем должно.

Грейс собирается домой. Из шкафчика достает старую сумку. В одном отделении лежит завернутый остаток служебного рациона. Она не прячет его от меня и не объясняет.

— Одри из дома Вейров, — говорю я. — Вы ее знаете?

Грейс застегивает молнию.

— Нет.

— У нее сестра получает питание в Южном. Она просила материал для проверки.

Я произнесла лишнее, и понимаю это по тому, как Грейс переводит взгляд к двери. Там никто не стоит. От этого мое действие не становится безопаснее.

— Не нужно мне имя, если человек не приходил, — говорит она.

— Я уже сказала.

— Тогда дальше не говорите.

Я киваю. Помощь не передается между женщинами автоматически. У каждой есть граница, которую нельзя открыть чужой доброй целью.

Грейс берет сумку. У двери останавливается.

— Вы видели сегодня двенадцать. Я не знаю, сколько вам покажут завтра. Если будете помнить одну, остальных тоже не забывайте.

Я хочу сказать, что не забуду. Не говорю. Такой ответ слишком похож на обещание в лифтовом коридоре.

— Рэйчел в девять, — повторяю я.

— Да.

Грейс уходит. Я стою у стола в комнате персонала, слушаю, как ее шаги теряются среди других. Затем открываю контейнер. Холодная крупа, кусок мяса, очищенные овощи. Все промаркировано, проверено. Меня должны доставить обратно работоспособной.

Я беру вилку.

В первые минуты после обнаружения беременности мне казалось, что решение изменит меня. Я подпишу другое, не нажму нужное, и внутри возникнет женщина, которая больше не боится. Сейчас я голодна, раздражена, хочу домой. Хочу долго мыть руки, чтобы кожа перестала помнить чужой живот. Хочу, чтобы завтра кто-нибудь предложил правильное действие с известным результатом.

Ничего такого не произошло.

Я все еще могу рассказать о Лили. Даже легче, чем прежде: на бумаге есть медицинские данные, в аппарате исследование, в журнале задержка. Понадобится лишь изменить направление своей готовности отвечать за поступок. Сказать, что после дополнительной проверки статус подтвержден. Выдать женщину и получить возможность снова считать себя точной.

Я медленно ем крупу. На вкус она почти никакая. В этом доме и в этой приемной используют одну меру моего здоровья — способна ли я завтра продолжить работу. Сегодня я впервые ясно вижу, что сохраненная способность работать не означает, что я соглашусь выполнить все, для чего меня берегут.

От этой мысли не становится спокойно.

На внутреннюю связь приходит вызов. Дом Вейров. Я сразу выпрямляюсь, откладываю вилку. На экране имя Эвелин, но канал семейный, без личного ограничения.

— Вы еще в приемной? — спрашивает она.

— Заканчиваю.

— Мне нужно, чтобы вы посмотрели препарат. Винсент сказал, вы уточните сегодня.

— Машина уже направлена. Я буду через...

Время на экране — двадцать две минуты.

— Через полчаса.

Эвелин молчит, затем спрашивает:

— У вас там все в порядке?

Я смотрю на контейнер, разорванную пломбу, мокрый след от стакана Грейс.

— Прием завершен.

— Я не про прием.

Между нами появляется возможность сказать правду без медицинской формы. Я не пользуюсь ею. Эвелин может быть одинока в собственном доме. Может страдать. Может хотеть помочь. У нее есть муж, способный узнать, что именно я сообщила его жене. Ее положение сложнее, чем привилегия, но мне нельзя забывать привилегию только потому, что голос звучит тихо.

— Завтра утром мне нужно вернуться сюда, — говорю я.

— Он уже видел.

В груди становится холодно.

— Запрос?

— Да. Не волнуйтесь, я освобожу это время.

Она произносит «освобожу» так легко, словно полтора часа моей жизни можно передвинуть на полке. Возможно, действительно можно. Для нее.

Я благодарю. От благодарности становится хуже именно так, как я боялась в машине возле пледа. Эвелин заканчивает разговор. На экране остается мое отражение с белой полосой света через глаза.

Перед выходом я возвращаюсь в четвертый кабинет. Проверяю бумаги, не забрала ли случайно лист, который нельзя приносить в дом. Расписание с номером пробы Рэйчел лежит у терминала. Я вспоминаю девять знаков, потом записываю их в память еще раз без ручки. Это не исследование. Только усилие не дать увиденному исчезнуть вместе с закрытой страницей.

Аппарат стоит за ширмой. Локальная запись Лили сохранена. Архив все еще восстанавливается. Мне хочется выключить его, убрать из комнаты, сделать так, чтобы ночь не могла найти ее раньше утра. Я не трогаю аппарат. Понимаю, насколько быстро желание защищать женщину превращается в желание распоряжаться сведениями о ней без ее участия.

Завтра нужно будет спросить, чего хочет она.

Не успокоиться ее ответом. Не использовать его как оправдание. Выслушать и остаться рядом с последствиями.

На терминале появилось уведомление об отложенной записи. Я читаю только первую строку: ответственное лицо подтверждено. Ниже стоит мое имя. Раньше оно казалось мне чем-то, что еще можно удержать отдельно от медицинского знака и янтарной полосы. Теперь оно привязано к часу завтра, к женщине в широкой куртке, к акушерке, которая не обещала лгать.

Я выключаю свет, запираю кабинет. Ключ нужно оставить на стойке. Металл согрелся в ладони. Женщина у выхода принимает его, спрашивает, благополучно ли прошла смена.

— Есть незавершенные случаи, — отвечаю я.

Она кивает и поворачивает ключ биркой наружу.

Улица темная. Зеленый крест над дверью освещает две камеры и мокрые плиты. Прачечная еще работает. В окне на втором этаже движется пар, за ним на секунду появляется силуэт женщины. Я поднимаю голову, стараюсь различить короткие волосы. Потом отступаю: любую женщину можно сделать Лили, если смотреть достаточно жадно.

Машина стоит справа от входа. Дверь открывается по браслету, салон теплый. На сложенном переднем сиденье тот же плед. Я сажусь, ставлю сумку, не отвечаю на пожелание благополучного возвращения.

Когда окна темнеют перед границей кольца, я впервые не проверяю свое лицо. Смотрю на руки. Под ногтем тонкая полоса чернил. Она могла остаться от листа Рэйчел или от заключения Лили. Завтра я не смогу различить.

У ворот дома меня встречает другая работница. Одри нет. Я спрашиваю, сменилась ли она. Женщина отвечает, что рабочий день завершен, и берет мое пальто. Обычные слова. У меня уже достаточно страха, чтобы услышать в них больше, но недостаточно сведений, чтобы этому поверить.

Медицинская комната освещена. На столе органайзер Эвелин, рядом результаты утреннего анализа. Я мою руки и втираю крем в трещины. Вода не получает права знать, что сегодня смывает. Я прекращаю мыть после одного раза, почти насильно.

Эвелин приходит без цепочки на шее. Темный домашний костюм тот же. Она закрывает дверь, не спрашивая меня, и садится в кресло.

— Я не принимала вечерний, — говорит она.

Я смотрю на органайзер. Ячейка закрыта.

— Почему?

— Хотела дожидаться вас.

Я спрашиваю о симптомах. Она отвечает подробно, без страха перед длиной записи. В ее карте еще никто не готовит слово «сокрытие» только потому, что она не приняла средство по расписанию. Это не делает тошноту менее настоящей. Я заставляю себя слушать, не сравнивая каждую фразу с кабинетом в Южном.

Результаты требуют корректировки назначения. Я объясняю, что буду менять, зачем нужен дополнительный контроль. Эвелин смотрит на мои пальцы, когда я открываю новую упаковку.

— Вы устали.

— Долгая смена.

— Винсент считает, что вас там учат сомневаться.

Я не сразу поднимаю глаза.

— Он сказал так?

— Сказал, что иначе вы закончились бы раньше.

На столе упаковка остается приоткрытой. Я закрываю ее, чтобы не держать руки без дела. Вейр знает количество задержек. Не знает их содержания, насколько мне известно. Эвелин передает его слова без улыбки.

— Для некоторых случаев нужно больше времени, — говорю я.

— Я знаю.

Она смотрит на дверь. Потом на камеру в углу, которая сейчас неподвижна.

— Мне завтра тоже нужно время.

Я думаю, что она спрашивает об утреннем обследовании, и начинаю объяснять расписание. Эвелин качает головой.

— Не для назначения. Я хочу поговорить. Когда вернетесь.

Слова простые. В этом доме личный разговор может оказаться просьбой о помощи, испытанием или новой обязанностью, которую никто не внес в договор. Я не знаю, что она предлагает мне сейчас.

— Хорошо, — отвечаю я.

Она выдыхает, как человек, которому разрешили небольшой промежуток между действиями. Я узнаю этот выдох и на этот раз не приписываю его сыну. Он принадлежит ей.

Я заканчиваю назначение. Эвелин уходит, а я остаюсь заполнять отчет. Семейный канал требует подтверждения: обслуживание выполнено, врач работоспособен, отклонения объяснены. Я отмечаю выполненное, вношу необходимость повторной городской явки. На вопрос о работоспособности отвечаю «да».

В примечании можно написать свободный текст. Я смотрю на пустую строку. За все эти годы свободным называли то, что потом легче всего использовать против тебя.

Я оставляю строку пустой.

До девяти тридцати еще почти четырнадцать часов. В них Лили должна прожить свою первую ночь после того, как увидела изображение. Я не знаю, куда она ушла, есть ли дома тепло, нашла ли нитка место в распоротом рукаве. Не знаю, останется ли беременность ее желанием или только ее опасностью. Это незнание впервые кажется мне не пустотой, которую нужно заполнить предположением, а пределом, возле которого я обязана остановиться.

Завтра ее спрошу.

Если она придет.

Я гашу терминал. На темном стекле отражается женщина в светлой тунике. Сегодня она оставила незавершенным то, что умела завершить одним прикосновением. Отражение выглядит так же, как утром: усталые глаза, две складки, седая прядь у виска.

Только теперь за его молчание отвечает не пустая квартира.
Чужая ночь.

Глава 4 Дом с зимним садом

В машине пахнет вчерашним пледом. Я узнаю этот запах раньше, чем вижу ткань на сложенном сиденье: сухое тепло, чужое средство для стирки. За ночь его не заменили. Маленькая неисправность порядка, почти утешительная. Вещь дождалась меня, хотя я не просила.

На стекле проступает маршрут. Пятнадцатое марта, восемь сорок семь. Время обратного выезда закреплено отдельно, янтарным прямоугольником: десять тридцать. Машина должна начать обратное движение сразу после завершения приема. Я читаю уведомление дважды, будто во второй раз внутри появится еще несколько минут.

Утром диагност снова сказал «Чисто». Я приложила его к одному участку под ребрами повторно. На первом проходе мне показалось, что гудение задержалось; на втором задержки не было. Теперь я не могу восстановить ни тот звук, ни причину, по которой поверила второму. На коже остался красный след от края прибора. В форме здоровья нет строки для повреждений, которые причиняет проверка здоровья.

Я не успела доесть. В холодильнике остался открытый контейнер, и его пломба больше не может подтвердить, что за время моего отсутствия внутрь ничего не попало. Я знаю, кто имеет доступ к квартире. Обслуживание входит только по уведомлению. Знаю и то, что эта мысль не остановит меня вечером, когда я стану рассматривать еду под холодным кухонным светом.

Возле приемной женщина держит ребенка за капюшон. Не за руку: обе ее руки заняты пакетами, пальцы одной зацеплены за край ткани. Ребенок наклоняется вперед, пока капюшон не натягивается под подбородком, и возвращается на шаг. Я смотрю, как она освобождает два пальца, перехватывает его запястье. У нее получается. Машина закрывает за мной дверь.

Рэйчел уже в коридоре. Сидит возле обогревателя, в той же куртке, с маленьким пакетом на коленях. При моем появлении она поднимается слишком быстро и придерживается за стену.

— Не вставайте, — говорю я.

Она остается стоять.

— Я пришла.

В этом сообщении все, что ей удалось сделать для собственной защиты. Пройти рамку, занять место, дожидаться женщины, которая вчера поставила подпись. У меня на секунду возникает постыдное облегчение: по крайней мере один человек не исчез за ночь. Рэйчел не обязана успокаивать меня своим присутствием.

— Сейчас откроем кабинет.

— Мне на предприятии сказали, до обеда отметку вернуть.

Я отвечаю, что проверю освобождение. Она садится. На пакете печатная полоска с часами выдачи; внутри что-то круглое, завернутое в серую бумагу. Я отвожу глаза раньше, чем успеваю прочитать номер партии.

Грейс выходит из служебной двери. Булавка на рукаве перемещена выше: ткань порвалась вдоль старого шва. У нее мокрые волосы на висках. Она смотрит сначала на меня, потом на настенные часы.

— Здравия вам.

— И вам.

Мы выполняем обмен, которому вчера не нашлось места между мной и Лили. Слова не изменились, но я слышу в них начало смены, согласие на существование коридора и всех его дверей.

В кабинете пахнет нагретой пылью. Грейс уже включила терминал. Бумажное расписание лежит под прозрачной накладкой. Номер декабрьской пробы Рэйчел я помню неправильно: предпоследний знак другой. Я сверяю его с листом и ощущаю почти физическое раздражение

на собственную память. За ночь я столько раз повторила эти девять знаков, что один из них заменился повторением.

— Анализ пришел, — говорит Грейс. — Ответ по сверке тоже.

— А архив?

Она понимает, о каком архиве я спрашиваю.

— Связь восстановили. Ночные исследования не переносили. Дневные после сбоя — очередь на подтверждение оператора. На вашем отметка.

Ультразвуковой аппарат за ширмой выглядит так же, как вчера. Темный экран, толстый кабель. Я представляю, как кто-то ночью садится в мое кресло и открывает имя Лилиан Арден. Никаких новых сведений к этому представлению не добавилось.

— До переноса доступно на месте, — добавляет Грейс. — Я проверила состояние. Саму запись не открывала.

Я благодарю. Она кивает без улыбки.

На терминале два незавершенных случая расположены рядом. Возле одного — результат крови. Возле другого — пустое место, за которым существует изображение. Я начинаю с Рэйчел, как обещала. Медицинская последовательность сейчас удобна еще и тем, что позволяет на полчаса не смотреть в другую строку.

Рэйчел входит в девять. Она снимает куртку и складывает ее на стуле так аккуратно, словно качество складок повлияет на решение. На руке синяк после вчерашнего забора. Я спрашиваю о ночи. Боль будила дважды. Нового сильного кровотечения не было. Она лежала, потому что предприятие действительно признало освобождение. Когда произносит это, смотрит на мой знак отличия.

Свежий анализ показывает анемию. Некоторые показатели требуют дальнейшей оценки, но по одной крови нельзя подтвердить ни болезнь, которой ее вчера почти объявили больной, ни отсутствие этой болезни. Я читаю значения и комментарий лаборатории, затем раскрываю ответ на архивный запрос.

Подтверждена неправильная дата отображения. Декабрьская проба принадлежит Рэйчел; расхождение последнего символа возникло при переносе обозначения из локального журнала. Признак текущего исследования должен был быть снят. Ответ подписан техническим узлом, не человеком. В конце стоит предложение: «Клиническая значимость маршрута сохраняется».

Они исправили цифру, не изменив направления, которое из нее выросло.

— Что там? — спрашивает Рэйчел.

Я поворачиваю экран настолько, чтобы она могла видеть свое имя и дату. Не весь список чужих служебных отметок.

— Вчерашнее отображение было неверным. Тот анализ действительно взяли в декабре. Сегодня есть новая проба. Она показывает, что вам нужно обследование и лечение анемии. Подтвержденного онкологического диагноза здесь нет.

Рэйчел кладет руки на колени.

— Значит, я чистая?

Я чувствую желание дать ей это слово. Оно короткое, в нем можно выйти из здания. Достаточно сказать, и ее плечи опустятся, она поблагодарит, а я смогу на мгновение считать вчерашний день завершенным.

— Я не могу так сказать по этому анализу. Нужно выяснить причину боли и кровотечений.

Ее лицо закрывается. Я уже видела, как происходит это движение: мышцы почти не меняются, но женщина перестает ждать чего-нибудь от моего голоса.

— Тогда зачем исправляли?

— Чтобы вас не везли как человека с установленным диагнозом, которого еще нет.

— А как другого повезут?

Я открываю доступные направления. Центральный узел требует транспортного подтверждения. Есть амбулаторное отделение в Южном, с приемом через шесть дней. В поле ожидания стоит предельный срок три дня; несогласованность не дает оформить визит без отдельного разрешения. Здание находится в пяти остановках отсюда. Его местонахождение не является тайной. Для Рэйчел этого мало.

— Здесь можно обследоваться, не покидая сектор. Я запрошу более раннее время.

— У меня дети, — говорит она. — Я вчера уже сказала.

— Помню.

Она смотрит на Грейс, проверяя, помнит ли кто-нибудь еще.

Грейс подходит к столу и называет окно, которое освободилось утром: не в общем списке, а в местном журнале отделения. Женщина не подтвердила приезд после переноса смены. Место еще удерживают за ней, но можно запросить соседнее время у того же специалиста. Грейс знает, кому передать запрос, не обещая, что его примут.

Я оформляю медицинское обоснование. Без уверений в безопасности, без слова «срочно», которое превращает любое движение в распоряжение. Достаточно симптомов и свежей крови. На экране появляются два варианта: подтвердить транспортный маршрут или продолжить очное уточнение под ответственностью назначенного врача. Второй не отменяет наблюдения. Я выбираю его.

Рэйчел следит за моей рукой.

— Я домой сегодня?

— После отметки — домой. Для обследования будет отдельное время. Я объясню, когда придет ответ.

Она выдыхает, но не убирает куртку со стула. Я осматриваю ее, спрашиваю о старом препарате, сверяю замену. Обезболивающее выдали в другой дозировке; инструкция на упаковке общая. Вчера я заметила отсутствие прежнего лекарства и не успела выяснить, что именно оказалось вместо него. Сегодня торопиться нельзя, хотя в соседней строке уже приближается девять тридцать.

Обыденная неточность делает больной женщине хуже без всякой тайной программы. Таких неточностей можно набрать достаточно, чтобы перестать нуждаться в тайне.

Я корректирую назначение в пределах того, что здесь доступно, объясняю, какие изменения потребуют срочного обращения. Рэйчел слушает внимательнее, когда речь заходит о том, что делать дома. Она умеет обращаться с конкретной угрозой, если у нее есть название и ближайшее действие. Безымянное направление вчера лишило ее этой возможности.

Подтверждение приходит в девять двадцать три. Сегодня в четырнадцать десять, местное отделение, без общего транспортного сопровождения. Допуск предприятия на время визита согласуется автоматически после врачебной отметки. Я распечатаваю лист. Грейс проверяет адрес и дописывает номер входа: в сообщении указан корпус, у которого две двери, одна для выдачи рационов.

— Не потеряйте, — начинаю я и останавливаюсь.

Рэйчел уже держит бумагу обеими руками. Ей не нужно напоминать, насколько легко ее жизнь теряет действительность без листа.

— Если терминал на работе не подтвердит, покажите эту отметку в приемной, — говорю вместо этого. — Грейс знает, как проверить.

Я назвала Грейс прежде, чем спросила ее согласия. Смотрю на нее. Она коротко кивает, принимая только эту часть помощи.

Рэйчел надевает куртку. У двери оборачивается.

— Вы вчера сказали, что не знаете. Я всю ночь думала, почему врач этого не знает.

Я жду.

— Теперь хоть вижу, чего.

Она уходит с пакетом и листом. В карте остается амбулаторное уточнение, снятый неверный признак текущей пробы и мое несогласие с прежним подтверждением. Я не спасла ее от болезни. Даже от эвакуации спасла пока только на сегодняшний день. Но адрес, который она несет в руках, существует в ее городе, и туда можно прийти ногами.

В девять двадцать восемь дверь открывается без стука. Лили останавливается на пороге. Куртка та же, рукав зашит белой ниткой. Длинные неровные стежки стягивают ткань; подкладка больше не видна.

— Еще рано? — спрашивает она.

— Нет. Заходите.

Она не садится сразу. Смотрит на аппарат за ширмой, потом на пустое место рядом с клавиатурой, где вчера лежал медицинский лист.

Грейс запирает дверь на обычную защелку, чтобы следующая пациентка не вошла случайно, и достает серую папку. Я узнаю свой почерк. Слово, расплывшееся под ладонью, высохло с темной кромкой.

— Как вы себя чувствуете?

— Меня тошнило. Я дошла.

Мы обе начинаем с подтверждения явки. Лили кладет сумку между ботинками. На нижнем шве застыла полоска грязи.

— Дома удалось поспать?

— Я живу при прачечной. Там ночью сушат. Я привыкла.

Она отвечает на вопрос о месте, пропуская вопрос о сне. Я не возвращаю ее к нему. Давление почти такое же, как вчера. Новых тревожных симптомов она не описывает. Грейс ставит воду, обычную воду приемной, и Лили пьет, не спросив о классе. Моя бутылка осталась в сумке. Я помню, как вчера гордилась тем, что отдала несколько глотков, и теперь это воспоминание неприятно.

— Кто-нибудь спрашивал о вчерашнем вызове?

— Мастер спросила, почему долго. Я показала время на листке. Она сказала, часы допишет, когда закроете.

— Сегодня смена?

— С одиннадцати.

У нее тоже есть десять тридцать. Только никто не подаст машину.

Я объясняю, что техническая связь восстановлена, изображение сохранено и требуется завершить прием. Лили слушает без движения. В конце поднимает глаза.

— Вы обещали сначала спросить.

— Да.

Я отодвигаю клавиатуру на ширину ладони. Камера остается на стене; этот жест не создает отдельного мира. Он нужен мне, чтобы не начать печатать, пока она ищет слова.

— Что вы решили для себя?

Лили долго молчит. Грейс не заполняет паузу. За стеной прачечной что-то падает с металлическим грохотом, затем включается ровный низкий шум.

— Я хочу, чтобы осталось, — говорит Лили. — Сейчас хочу.

Она произносит последние слова с нажимом, заранее защищая их от требования обещать все будущие дни.

— Я услышала.

— Не надо говорить, что это хорошо.

— Не скажу.

— И что я смелая.

Я киваю. Она смотрит на меня так, будто еще не уверена, услышала ли я именно запрет, а не приглашение утешить иначе.

— Я боюсь, — говорит она. — Я вчера легла и подумала: если не проснусь, можно будет уже ничего не решать. Потом испугалась этой мысли. Я не хочу не проснуться.

Я спрашиваю, есть ли сейчас желание причинить себе вред. Голос у меня становится осторожным, и Лили это замечает.

— Нет. Я хочу жить. Только мне от этого не стало понятнее.

Я говорю, что при изменении этого состояния нельзя оставаться одной, и спрашиваю, кому она сможет сказать, если станет хуже. Она называет мастерицу прачечной, без имени. Не близкая, но живет в том же здании; иногда оставляет открытым свет в своей комнате. Я не превращаю это в готовую опору. У женщины, которая дописывает часы, может не быть возможности остаться рядом.

— Для беременности нужно наблюдение, — говорю я. — Питание, обследования. И вам должны объяснить варианты без угроз. Здесь я могу сделать только часть этого.

Лили опускает взгляд на папку.

— Вы сейчас отправите?

Грейс стоит у раковины. Ее руки неподвижны, кремовое пятно еще не впиталось возле костяшки. Я не могу сделать вид, что разговор касается только двух человек.

— Если я передам установленную беременность без назначенного союза, начнется рассмотрение нарушения. Я не могу сказать, что вам позволят вернуться в прачечную.

— Тогда не передавайте.

Она не просит стереть изображение. Не просит научить ее быть невидимой. Просьба направлена на мою руку, на одно действие, для которого меня привезли сюда.

Я смотрю на срок завершения. Вчера я поместила себя между двумя положениями и называла это временем. Сегодня положения сдвинулись, оставив мне меньше места. На экране больше нет предупреждения о техническом перерыве.

— Я могу завершить учет явки и записать рекомендации по вашим жалобам, — говорю я. — Если не внесу беременность в обязательный реестр, это будет сокрытие с моей стороны. Изображение и бумага останутся. Их могут потребовать.

Лили смотрит на Грейс.

— И с ее?

Я не отвечаю вместо нее.

— Я оформляю процедуры, которые проведены, — говорит Грейс. — Результат подписывает врач. Бумагу я не уничтожу. Если придут с запросом, придется показать.

Лили закрывает глаза. Несколько секунд дышит ртом. Потом открывает.

— Но сейчас не придут?

— Я не знаю, — отвечаю я.

Ответ снова лишает меня того, что принято считать достоинством врача: уверенного знания о ближайшем будущем. Лили не отворачивается. Она уже умеет отличать этот недостаток от обещания, которому не следует верить.

— Тогда сейчас не отправляйте.

Я ввожу клинические рекомендации по слабости и тошноте, необходимость дальнейшего наблюдения и согласованный повторный контакт. Не пишу, что беременность исключена. Не ставлю ложную отрицательную пробу. Это оставляет мне несколько фактически верных строк, из которых намеренно вынуто то, ради чего ее вызвали.

Вопрос о целевом обследовании появляется перед завершением. Я отмечаю: результат требует отдельного врачебного оформления. Система принимает завершение посещения, но создает задачу по незакрытому целевому статусу. Теперь это не вчерашняя отсрочка, связанная с неисправностью. Это зарегистрированное несоответствие между закрытым приемом и незавершенным контролем. Мой допуск позволяет подтвердить его вручную. Мой допуск сохранит и имя человека, который подтвердил.

Я нажимаю.

Ничего не гаснет. Не звучит сирена. Лили остается на стуле, Грейс — у раковины. Время меняется на девять пятьдесят один, и я ощущаю тяжесть совершенного только по тому, как трудно убрать палец с панели.

— Это все? — спрашивает Лили.

— Явка завершена. Обязательный статус не оформлен. По нему осталось требование.

— На сегодня?

— Требование останется и после сегодня.

Она кивает. Я не могу определить, поняла ли она всю разницу. Поэтому повторяю простыми словами: сейчас я не передала сведения, которые запустили бы рассмотрение нарушения; это не означает, что они никогда не появятся в реестре. Ей все еще могут назначить другой осмотр.

— Я поняла, доктор. Не говорите еще раз.

Грейс подает чистый лист для рекомендаций. Я пишу следующее посещение в этой приемной, через три дня. Согласование со мной пока не получено; объясняю, что если меня не будет, она может прийти к Грейс для проверки самочувствия и назначения врача. Грейс слышит и соглашается вслух. На этот раз я сначала спрашиваю.

Лили берет лист, читает. Поднимает голову.

— А это вы точно можете написать? Чтобы мне выдали еду, от которой не мутит. Там говорят, всем мутит, это не причина.

Я понимаю, чего не спросила за двадцать минут своих нравственных усилий. Что именно она ест и сколько удастся удержать. У нее есть желание прожить беременность, но сегодня ей нужно дойти до одиннадцатичасовой смены, не согнувшись у стены.

Мы обсуждаем доступный рацион. Без домашних ритуалов очистки, без моего страха перед каждым куском. Я оформляю щадящий вариант по подтвержденным жалобам, не обещаю выдачи особого класса. На экране стоит замена внутри ее категории, и Лили просит отметить, что маленькие порции нужны чаще. Я добавляю это в медицинскую рекомендацию. Распределительный узел может отказать, но отказ уже будет ответом на конкретную просьбу, а не на слово «мутит», произнесенное у окошка.

Она складывает оба листа вместе.

— Я думала ночью, что не приду.

— Что заставило прийти?

Лили трогает белый шов на плече.

— Не заставило. Я сама.

Я чувствую, как вопрос, который мог бы быть обычным, оказывается еще одной попыткой найти над ее решением причину, человека, давление. Она не позволяет.

— Да, — говорю я. — Сама.

У двери она останавливается, не оборачиваясь.

— Когда вы говорите «здравия вам», у вас лицо такое, будто вы простились.

Я не успеваю ничего ответить. Лили открывает дверь. Грейс идет со мной к стойке и подтверждает завершение явки. Рамка пропускает ее после обычной задержки. Она выходит на улицу и поворачивает к прачечной, не оглядываясь на нас. Я вижу, как белая нитка на рукаве исчезает за дверью соседнего здания.

До обратного маршрута двадцать четыре минуты.

Сотрудника маршрутов вчерашней смены нет. За его столом другая женщина, с гладко зачесанными волосами. Она не поднимает глаз, когда я прохожу. Это ничего не значит. Я уже начала считать отсутствие внимания отдельной милостью и не знаю, как перестать.

В кабинете Грейс убирает серую папку обратно. Я проверяю очередь изображения. Возле имени Лили стоит необходимость моего подтверждения. В служебной карте осталась незакрытая задача. Если я буду долго смотреть на эти строки, они не станут менее видимыми.

— Вы понимаете, что теперь проверят отдельно? — спрашивает Грейс.

— Да.

Она смотрит на меня, и я исправляюсь:

— Понимаю, что могут. Не знаю, когда.

— Хорошо.

Это слово не выражает одобрения. Оно означает, что мы хотя бы не будем обсуждать завтрашний день как известный факт.

Я предлагаю оформить свое решение отдельным пояснением, чтобы ее не считали человеком, который задержал перенос. Грейс просит указать ровно то, что она делала: ассистировала, сохранила бумагу, сообщила состояние оборудования. Ее возражение против уничтожения записи тоже можно внести. Я так и пишу. Слова о ее участии короткие. Они не делают нас подругами; впервые я ощущаю, что их точность важнее моей потребности иметь союзницу.

— Не обещайте за дом, — говорит Грейс. — В следующий раз сначала получите время. Я киваю.

— И по Рэйчел проверьте ответ после обеда. Иногда подтверждение есть, а на входе не видят.

Я ставлю напоминание. Грейс переворачивает расписание чистой стороной вверх. На обратной остались девять знаков декабрьской пробы. Она не прячет их от меня и не отдает с собой.

Когда я выхожу, женщина с ребенком уже у стойки. Пакеты стоят у ее ног. Ребенок спит у нее на плече, капюшон сбил на один глаз. Она поворачивается к рамке, чтобы пропустить меня, и сразу возвращается к разговору. Я прохожу мимо; служебная машина ждет с открытой дверью. Моя помощь заканчивается всякий раз на другом расстоянии от улицы, чем помощь этих женщин.

В Верхнем кольце дорожки сухие. Снег сохранился только в узких полосах между стеной и подогреваемой плиткой, ровный, сероватый, похожий на забытый строительный материал. В Южном талый снег собирается в обуви. Здесь он остается частью вида.

Машина прибывает в десять пятьдесят две. На воротах появляется пожелание благополучного продолжения дня. Я поднимаю запястье к считывателю и вдруг думаю о том, что внутри дома мне снова придется желать здоровья. Вейру, его дочери, Эвелин. Моим пациентам. Самое простое врачебное желание застревает в горле, потому что у одного из них есть право решать, кому оно вообще положено.

Одри принимает пальто. Я так долго ждала увидеть ее, что почти называю по имени раньше приветствия. Она замечает это движение и берет сумку с обычной осторожностью.

— Сухого пути вам, доктор. Промокли?

— Нет.

— В Южном теперь у самой двери вода. Мне утром сказали.

Она произносит это при включенной приемной панели. Ниже моего запястья на мгновение оказываются ее пальцы, и я вижу маленькую царапину, свежую, возле ногтя. Потом она отходит к шкафу.

— Сестра? — спрашиваю я слишком тихо.

Одри поднимает голову.

— Позже, если сможете.

Я благодарна за это «позже», хотя у меня нет права считать его согласием довериться. Она живет с сестрой не в моем воображении. Ее утро состоялось без моего наблюдения.

В медицинской комнате готовы анализы Эвелин. Нового срочного отклонения нет. Измененное вечернее назначение она перенесла лучше; это подтверждено ее домашним опросом, и я еще должна услышать ее саму. Система предлагает подтвердить сохранение схемы. Я не нажимаю до разговора.

Из окна видно зимний сад. Внешнее стекло темное от облаков, внутреннее освещено лампами. За ним листья, влажная почва в широких прямоугольных емкостях, дорожка между растениями. Невозможно определить, сколько здесь настоящего дневного света. У растений нет выбора, и все же по ним видно, что о них заботятся внимательнее, чем о людях возле шестой приемной.

Я мою руки. Один раз. Потом возвращаюсь к раковине, потому что на пальце осталась чернильная полоска. Вода не смывает ее сразу; кожа вокруг ногтя краснеет. Я выключаю кран до исчезновения следа. Неполное очищение кажется нарушением обещания, которого я никому не давала.

Эвелин приходит за мной сама.

— Пойдемте в сад.

— Здесь можно поговорить.

— Здесь Винсент получает итоговые уведомления. В саду тоже есть запись, я знаю. Но мне проще там сидеть.

Она не предлагает тайны. Это делает приглашение менее опасным только на первый взгляд. В комнатах, где допускают личный разговор, можно произнести больше, прежде чем заметишь, что разговор оставался служебным.

Мы идем через маленькую столовую. На длинном столе три места, четвертое не накрыто. У каждого плоская металлическая подставка с именем и номером рациона. На моей обычно нет имени, только категория медицинского сопровождения. Для обеда ее еще не поставили.

Эвелин задерживается у своей тарелки, берет кусок подсушенного хлеба, потом кладет обратно. На хлебе тонкая корочка, неровная, настоящая. Я испытываю зависть к этой неправильной поверхности и почти сразу подозрение: она настолько непохожа на стандартную порцию, что мне захотелось бы проверить ее дважды.

— По утреннему препарату лучше? — спрашиваю я.

— Да. Ночью хотя бы не было этого провала. Как будто засыпала не я, а меня закрывали.

Я уточняю ощущения, длительность, пробуждения. Она отвечает терпеливо, хотя привела меня не для этого. Мы договариваемся о контроле, и я записываю краткую заметку на служебном устройстве. Эвелин смотрит, как мои пальцы касаются стекла.

— Вы сначала отмечаете, потом верите?

— Отметка не заменяет разговора.

— А если в разговоре я скажу то, чего не было в отметке?

Я убираю устройство в карман.

В зимнем саду тепло, но не душно. Под потолком тонкие трубки собирают конденсат; вода скользит по стеклянной стене в закрытый желоб. Раньше я любила, когда на листьях оставались капли после дождя. Здесь каждая капля учтена до того, как появилась. Листья блестят, и мне кажется, что их недавно протерли по одному.

Эвелин садится в кресло возле низкого дерева. На нем нет плодов, только небольшие светлые почки. Я остаюсь стоять, пока она не указывает на другое кресло.

— Вы можете сесть. Я не собираюсь вас осматривать.

Шутка легкая, почти дружеская. Я сажусь и не улыбаюсь вовремя. Эвелин замечает, но не повторяет.

— Мне назначили новую программу, — говорит она.

Я жду названия. В ее карте много программ; некоторые относятся к здоровью, другие используют здоровье как единственную допустимую причину вмешательства.

— Репродуктивную. На осень. Подготовку хотят начать в апреле.

План будущего ведения закрыт семейным уровнем. Я вижу текущие медицинские данные и могу запрашивать дополнения. Согласованные родственные решения мне передают, когда требуется исполнение. Именно поэтому разговор со мной происходит раньше уведомления.

— У вас уже было обсуждение со специалистом?

— У Винсента было.

Она откидывается в кресле, но руки остаются на подлокотниках. Пальцы вытянуты, кожа над суставами бледная.

— Он сказал, что профиль семьи пересмотрели. Еще один ребенок будет соответствовать. Так и сказал. Айви не спрашивала, соответствует ли ей брат или сестра. Меня тоже не спрашивали.

Я смотрю на дерево. Одну ветвь подвязали к опоре широкой мягкой лентой; кора не повреждена. Уход здесь начинается с того, чтобы рост не отклонился от нужного направления.

— Вы хотите медицинское заключение до начала подготовки?

— Я хочу, чтобы подготовка не началась.

Слова произнесены отчетливо. Я узнаю ту паузу после них, когда человек ждет, не прервут ли его желание в симптоме.

— По какой причине? — спрашиваю я и сразу слышу, как звучит вопрос.

Эвелин усмехается.

— Должна быть подходящая?

— Мне нужно понять, что вы хотите от меня.

— Вот это правильный вопрос.

Она смотрит на дорожку за моим плечом. Под стеклянным потолком медленно движется обслуживающий модуль, останавливается над растением и выпускает тонкую струю. Вода попадает точно в землю. Листья не шевелятся.

— Когда родилась Айви, я плохо помню несколько недель. У всех есть записи, как я ее держала. Есть мое обращение о благодарности программе. Его до сих пор показывают новым семьям. Я смотрю и знаю: это я. Рот мой, руки мои. Но я не помню, как сказала эти слова.

Я спрашиваю, о чем она помнит. Не ставлю диагноз по чужому прошлому.

— Помню, что мне хотелось выйти из комнаты. Не уйти от нее. Из комнаты. Там все время кто-то был. Проверяли, прикладывали, поправляли мои пальцы. Я просила оставить меня на час. Мне объясняли, что просьба вызвана состоянием и нельзя ей подчиняться. Потом я перестала просить.

Она поднимает руку, проводит по краю подлокотника.

— Вы будете говорить, что теперь все иначе?

— Я не знаю, как будет устроено наблюдение. Можно запросить план и оценить риски.

— Риски для ребенка, для семьи, для программы. Мои тоже будут, последним пунктом. Я видела прежний план.

В ее голосе появляется злость. Я чувствую неожиданное облегчение: с этой интонацией мне проще, чем с ее тихой благодарностью вчера. Злость оставляет между нами расстояние. Я могу не считать ее просьбу доказательством близости.

— Вы вправе знать, какие вмешательства планируют, — говорю я. — И я могу записать вашу позицию в медицинской части.

— Могу я попросить вас не писать ее, а сделать так, чтобы мне отказали по здоровью?

Я молчу. Эвелин не пытается смягчить просьбу.

— У вас есть основания отложить, — продолжает она. — Вы сами сказали про вес. Про сон. Можете написать, что я не выдержу.

Есть основания обследовать и стабилизировать состояние. Нет основания утверждать, что беременность заведомо невозможна или обязательно причинит непоправимый вред. Я

могла бы растянуть оценку, усилить слова, выбрать из ее прошлого самый страшный эпизод. Несколько часов назад я выбрала из настоящего Лили самый безопасный.

Эвелин замечает, что я колеблюсь.

— Я не прошу навсегда. Хотя бы на год. Он не станет спорить с запретом, если запрет придет правильно.

— А с вашим отказом станет?

— Вы здесь живете давно. Зачем вы спрашиваете?

Я здесь работаю. Живу в другом месте, в квартире с утренним прибором и недоеденным завтраком. Но ее фраза точнее этого различия: мое время принадлежит дому, и дом знает, как меня найти.

— Если я напишу недостоверное противопоказание, его могут проверить другим врачом, — говорю я. — Это не гарантирует отсрочки. По вашему состоянию нужна оценка. Я могу оформить необходимость оценки до начала подготовки.

— А пока оценивают, он уже подпишет.

— Медицинские действия не должны начаться без завершения обследования.

Эвелин смотрит на меня долго.

— Не должны, — повторяет она. — Вы так говорите, когда не можете сказать «не начнут».

Мне хочется объяснить, что я не единственный человек, от которого зависит ее программа. Она знает это лучше меня. Объяснение только переместит наше бессилие в более удобную форму.

Я спрашиваю, можно ли увидеть документ, который она получила. Эвелин достает из кармана небольшой планшет. Уведомление адресовано представителю семейного союза; ее имя стоит в разделе исполнителей программы. Есть дата предварительной встречи, объем обследований, подтверждение согласования состава семьи. Поля ее согласия на этом экране нет.

— Это предварительное распределение, — говорю я. — Оно не заменяет информированного согласия на медицинское вмешательство.

— Тогда запишите, что у меня его нет.

Я поднимаю глаза.

— Вы понимаете, что запись станет доступна ответственному за программу?

— Винсенту?

— Ему могут передать. Я не знаю, какие уведомления он получит сразу.

Она берет планшет обратно, словно поверхность стала горячей. Держит его на коленях.

— Значит, если скажу правду, он узнает, что я против. А если вы скажете не всю правду, узнают, что вы против.

— Медицинское заключение должно описывать ваше состояние. Ваше несогласие — отдельная запись.

— Для записи это отдельно. Для дома нет.

Мы молчим. Я слышу, как вода собирается в желобе. Ничего в комнате не меняется от произнесенного, и это кажется самым унижительным. Эвелин все еще находится в красивом кресле, в тепле, с правом попросить хлеб, который не положен Лили. Наличие этих вещей позволяет любому человеку сказать ей, что она не имеет причины страдать.

— Я могу оформить осмотр специалиста, который не составлял программу, — говорю я. — Указать, что до оценки вашего физического и психического состояния подготовка не должна начинаться. И записать, что решение о согласии вами не принято. Не заменять его подписью мужа.

— Это будут две записи?

— Да.

— Он увидит обе.

— Возможно.

Она смотрит на свои руки. На одном ногте тонкая светлая полоска, лак начал отслаиваться. Здесь есть люди, которым поручено заметить это раньше, чем замечает она.

— Запишите обследование. Сейчас. Вторую не пишите пока.

— Тогда я не смогу представить ее как уже заявленный отказ.

— Я знаю.

Она поднимает голову.

— Вы думаете, я трусиха?

Я почти отвечаю привычное «нет», которое отнимает у вопроса содержание. Вместо этого говорю:

— Я думаю, вы решаете, с какими последствиями можете жить сегодня.

Эвелин закрывает глаза на короткое мгновение. Не благодарит. Я оформляю запрос на независимую медицинскую оценку: основания в текущей карте, необходимость уточнения прежнего неблагоприятного опыта, отсутствие завершеного согласия на подготовительные вмешательства. Последняя фраза описывает состояние документа, не ее отказ. Перед отправкой читаю ей вслух.

Она просит заменить «неблагоприятный опыт» на «жалобы после прежнего родоразрешения». Ей кажется, что опыт — недостаточно вещественное слово. Я объясняю, что прошлые жалобы придется уточнять по архивам, и она соглашается. Мы оставляем обе части, каждая на своем месте.

Когда запрос уходит, Эвелин смотрит на потолок.

— Вы ведь пожелаете мне здоровья в отчете.

— В отчете такой строки нет.

— Тогда при прощании.

Я не знаю, что ответить. Она устало улыбается.

— Я раньше любила это пожелание. После Айви люди говорили «плодовитого здоровья», и я думала, они радуются. Потом поняла, что никто не спрашивает, сколько еще здоровья я должна превратить в детей.

В сад входит работница с подносом. Разговор прерывается без предупреждения. Чашки ставят на низкий столик, рядом небольшая тарелка с ломтиками груши. Работница уточняет, допускается ли второй прибор для доктора. Эвелин говорит, что допускается, потом смотрит на меня.

— Вы хотите?

Груша очищена. Мякоть светлая, на одном ломтике уже проступает желтоватый край. Я вижу его раньше всего остального.

— Нет, спасибо.

— Не любите?

— Позавтракала.

Ложь простая и ненужная. Я не могу сейчас объяснить, что боюсь ее груши, хотя она питается лучше меня. Боюсь любой пищи, если не видела контейнер. Я знаю, что ее личный рацион проверяют отдельно, и все равно мне кажется, будто желтая кромка отвечает на вопрос, который ни один сканер не услышал.

Работница уносит второй прибор. На нижней стороне подноса два цвета маркировки: белый для семьи, янтарный для сопровождения. Раньше я не обращала внимания, что класс А внутри себя тоже разделен.

— У вас другие контейнеры, — говорю я, когда женщина выходит.

— У всех другие.

— Я думала, защищенный рацион общий для дома.

Эвелин берет ломтик. Не ест сразу.

— Винсенту подбирают по его программе. Айви по возрасту. Мне теперь собираются менять. Вам выдают служебный. Это же видно в ведомости.

В моей ведомости видно только то, что выдано мне. Я не могу прочесть чужой рацион, если медицинская задача не требует состава. Даже защищенность распределяют порциями знания.

— Что вы хотели проверить? — спрашивает Эвелин.

— Состав, если будет изменен из-за новой программы.

Это правда, появившаяся позже вопроса. Я не объясняю ей подозрение, для которого еще нет доказательств. Разница в питании не доказывает вреда. Разница в праве узнать состав существует передо мной без всякого доказательства.

Эвелин кладет грушу обратно.

— Они уже прислали предварительный набор. Я не открывала. Вы можете посмотреть у Одри. Я не хочу, чтобы мой завтрак начал программу раньше, чем я ее согласовала.

В ее голосе нет моей боязни заражения. Она боится, что ей выдадут еду, принятие которой станет еще одной разновидностью согласия. Я понимаю этот страх слишком хорошо, чтобы успокоить ее словами об обычном продукте.

— Посмотрю назначение и состав. До проверки не будем отмечать начало подготовительного питания.

— Мы можем это решить?

— Сегодня — можем.

Она слышит ограничение. Кивает и наконец берет чашку.

Из столовой доносится детский голос. Айви вернулась с утренних занятий; я не заметила, как прошло время. Эвелин меняется раньше, чем дочь входит в сад: плечи выпрямляются, лицо становится внимательным, почти спокойным. Я помню это усилие по собственной жизни. Сыну нужно было видеть лицо, которое не обрушится от его вопроса.

Айви останавливается возле дверного стекла. На ней светлая кофта с закрепленным на груди учебным знаком. В руке коробка.

— Мы выращивали, — говорит она.

Эвелин протягивает руку, но девочка подходит ко мне. В коробке на влажной ткани лежат набухшие семена. У одного маленький белый корешок.

— Они проверенные. Нам сказали, можно показывать дома.

— Вижу, — отвечаю я.

— Это не для еды.

Она произносит предупреждение очень серьезно. Я киваю и спрашиваю, как она их поливала. Айви начинает рассказывать, сколько нужно воды, почему нельзя заливать. У нее сбивается порядок, она возвращается к началу, и я позволяю ей закончить дважды.

— А этот не растет, — говорит она, показывая на темное семя. — Надо убрать, чтобы другие не перестали?

— Если оно испортилось, его лучше отделить. Но то, что оно еще не проросло, не означает, что оно плохое.

— Учительница сказала, задерживающие забирают питание.

Я смотрю на ее палец возле маленького неподвижного зерна. Не знаю, какую часть урока она повторяет точно, какую добавила сама. Мне хочется вынуть коробку из ее рук и показать, что семена не должны оправдывать право на влажную ткань. Вместо этого спрашиваю, есть ли место в отдельном стаканчике, чтобы посмотреть, что будет дальше.

Айви обдумывает. Потом говорит, что стаканчик нужно запросить.

— Я найду, — говорит Эвелин.

Дочь улыбается, закрывает коробку, и я чувствую благодарность за эту крошечную разрешенную роскошь: одному семени позволят задержаться. Благодарность становится горькой, едва я понимаю, сколько стаканчиков найдется здесь для вещей, которые любят.

Эвелин отправляет Айви переодеться. Девочка прощается со мной учебной формулой:

— Сохранного дня вам.

— И тебе.

Она уходит. Коробку держит ровно, обеими руками.

Эвелин смотрит ей вслед.

— Вот поэтому я пока не хочу вторую запись.

Я не спрашиваю, угрожал ли Вейр отнять у нее дочь. Из сказанного не следует, что угрожал. Иногда человеку достаточно знать, у кого находятся все двери, чтобы не ждать произнесенной угрозы.

Мы заканчиваем разговор. Эвелин не просит обещать успех. Я не обещаю. Когда выхожу, она остается в кресле возле дерева, с нетронутой грушей на столике. У этого молчания есть удобная поверхность; его можно принять за отдых.

Одри я нахожу в комнате выдачи. Она сверяет обеденные порции с ведомостью. До начала обеда десять минут, дверь открыта. Я спрашиваю о предварительном наборе Эвелин обычным служебным голосом.

Одри достает закрытый ящик из нижнего шкафа. Доставка вчерашняя, начало приема указано на восемнадцатое марта, после встречи по программе. Состав доступен по медицинскому допуску; я читаю добавки, проверяю сопроводительное назначение. Продукты не являются сами по себе началом лечения, но часть добавок требует согласования с ее текущими препаратами. Согласования в доступном мне документе нет. Возможно, оно находится в другом контуре. Я ставлю запрос и отмечаю, что до ответа этот набор не заменяет действующий рацион.

— Ее обычный тогда оставляем? — спрашивает Одри.

— Да.

Она возвращает ящик. На дне шкафа стоят такие же пустые емкости; их стерилизуют и отправляют назад. Ничего тайного я здесь не нашла. Слишком легко было бы превратить другую этикетку в подтверждение, что я понимаю устройство города.

Потом Одри берет мой обеденный контейнер и проверяет пломбу. Я вижу, как она ногтем прижимает угол, где защитная полоса отходит от пластика.

— Что с ним?

Она смотрит на меня.

— Край не прихватился. Код целый. Сейчас заменю, если нужно.

— Замените.

Слово вылетает быстрее, чем я успеваю решить. Одри без возражений откладывает контейнер в лоток возврата. Мне становится стыдно от ее привычного движения: она знает, сколько целой еды отправляется обратно из-за наших испуганных глаз.

— Можно проверить, — говорю я.

— Уже отметила замену. Вернуть теперь нельзя.

Она подает другой контейнер. Пломба ровная, сухая. Я принимаю его с облегчением, которое не заслуживает оправдания.

— У сестры чисто, — говорит Одри.

Фраза появляется между ведомостью и закрытым шкафом так спокойно, что я почти не узнаю ее значение.

— Полоска?

— Да. Сделала утром. Она решила, что в приемную теперь не надо.

— Я говорила, это не исключает заболевание.

— Мне говорили. Ей я тоже сказала. Она услышала «чисто».

Мы стоим возле еды, которой боятся все, но по-разному. Одри кладет ладонь на край стола.

— У нее кашель не проходит. И похудела. Она говорит, от смен. Я не знаю, как отличить.

— Нужно обратиться на осмотр. Не из-за полоски, из-за симптомов.

— Она боится, что на осмотре найдут. После полоски хоть поспала.

Я чувствую желание забрать у нее это ложное утешение сразу, резко, как убирают неверное лекарство. Но утешение уже стало ночью, в которой женщина смогла поспать. Исправление моей неточности не вернет ночь; может только сделать следующий день страшнее.

— Я не могу обещать, что ничего не найдут, — говорю я. — И полоска не обещает. Могу помочь получить обычный первичный осмотр, без готового вывода.

— У вас сейчас уже есть кому помогать.

Одри не задает вопроса. Я смотрю на открытую дверь. Она замечает взгляд.

— В расписании ваш возврат передвигали. Дом видит расписание, доктор. Не людей.

Я прошу не ждать моего следующего выезда, если сестре становится хуже. Объясняю, куда обратиться по месту жительства. Она слушает, записывает номер приемного пункта на обороте ведомости, потом перечеркивает запись и переносит на маленький отрывной лист. Домовая бумага должна оставаться домовою.

— Имя пока не нужно? — спрашивает она.

— Чтобы оформить направление, нужно. Чтобы вы сказали ей обратиться — нет.

Одри складывает лист. Я впервые не пытаюсь узнать больше, чем она готова отдать. Не спрашиваю номер ее рациона, хотя память тут же подсовывает 6-18. Кашель и потеря веса не являются доказательством состава пищи. Моя тревога хочет связать все через одну причину; женщина передо мной хочет, чтобы сестра осталась дома.

— Питание лучше забрать, пока не остыло, — говорит Одри.

Я беру контейнер. У двери она добавляет:

— Не говорите ей, что я попросила вас напугать.

— Вы не просили.

— Тогда не сделайте из этого такую просьбу.

Я киваю. Врач умеет придавать словам пациента форму, которой удобно пользоваться. Сегодня мне напоминают об этом чаще, чем хочется.

Обедаю одна в медицинской комнате. Внутри мясо, крупа, несколько очищенных ломтиков овощей. Я проверяю код, состав, срок, еще раз провожу портативным сканером. Он оценивает предусмотренные параметры и выдает допустимость. Никакого ответа на мои настоящие вопросы у него нет.

Я отделяю край мяса, более темный после нагрева. Смотрю на него, затем возвращаю на место. Все равно не съедаю. Ломтик остается на дне, когда контейнер пустеет. В системе мой прием пищи будет считаться завершенным. Сколько страха осталось после него, не измеряется.

Напоминание о Рэйчел загорается в четырнадцать двадцать. Я проверяю доступную отметку. Явка в отделение подтверждена. Обследование начато; результата еще нет. Я сохраняю только эту информацию, не строю из нее благополучного исхода. Она дошла до второй двери, и ей открыли.

В строке Лили — завершенное посещение, незакрытый целевой статус. Запрос на уточнение направлен назначенному врачу. Мне.

Я смотрю на собственное имя в двух разных формах: здесь оно разрешает задавать вопросы, в доме требует отвечать. Сегодня между ними впервые появился поступок, который я не смогу представить простой внимательностью.

В пятнадцать семь приходит сообщение от административного узла Вейра. Требуется краткое объяснение утренних отклонений до вечернего семейного отчета. Поле для объясне-

ния ограничено. Можно прикрепить клинические сведения, но они не запрошены отдельно. Я пишу о свертке архивного анализа Рэйчел, местном обследовании, техническом восстановлении и необходимости отдельного завершения целевого контроля. Все сказанное относится к случившемуся. Основного в нем нет.

Перед отправкой задерживаю руку. Мне хочется написать еще одну фразу, которая позволит понять меня правильно, не выдав Лили. Таких фраз не существует. Человек, который знает о ней достаточно, уже не сможет не знать.

Я отправляю отчет.

Потом приходит подтверждение запроса по Эвелин. Независимую оценку разрешено согласовать через семейного представителя. До согласования программа остается предварительной. Эвелин прочитает эту формулировку и увидит круг, который я не смогла разомкнуть.

Я не иду к ней с готовым выражением сожаления. Передаю точный ответ и прошу сохранить запрос открытым. Она отвечает через несколько минут: «Сохраните». Больше ничего.

За окном зимнего сада включается вечерний свет. На внутреннем стекле отражается столовая, а за отражением видны листья. Я смотрю из медицинской комнаты, и две части дома накладываются одна на другую: место, где выращивают, и место, где выдают выращенное по именам.

Айви проходит между растениями с маленьким стаканчиком. Ставит его на нижнюю полку рядом с другими горшками. Я не вижу семени внутри, только ее ладонь, которой она придерживает край. Эвелин стоит позади. Не поправляет. Девочка несколько раз меняет положение стаканчика, выбирая свет, затем оставляет его и уходит.

Мне хочется верить, что этот жест что-то обещает. Я позволяю себе посмотреть еще несколько секунд, но не превращаю его в обещание. В городе есть тысячи детей, которым не позволено задержаться, и одно оставленное семя ничего за них не решает.

На моем устройстве появляется новое уведомление. Целевой статус Лилиан Арден включен в выборочную проверку завершенных посещений. Запрошено подтверждение переноса локального исследования. Срок ответа — завтра, двенадцать ноль ноль.

Внизу обозначено лицо, ответственное за передачу. Мое имя.

Я перечитываю сообщение. Оно еще не означает, что кто-то посмотрел изображение. Не означает, что Лили задержана. Я удерживаю себя в этих точных границах, хотя тело уже готовится к тому, что было восемнадцатого ноября: холод в кистях, тесное горло, желание встать перед дверью раньше, чем дверь откроется.

В саду Эвелин наклоняется к стаканчику, потом выпрямляется. Между мной и ней стекло с отражением моей комнаты. Если я подойду ближе, мое лицо закроет ее лицо. Я остаюсь у стола.

Завтра в двенадцать от меня потребуют не рассказа о здоровье, а подтверждения того, что увидела моя рука на экране.

Я кладу устройство рядом с нетронутым темным краем мяса. Оба предмета остаются в пределах света настольной лампы. Один мне дали, чтобы я продолжала жить. Другой — чтобы я решала, кому позволят продолжить.

За стеклом вода течет по листьям. Здесь вечер наступает по расписанию.

Глава 5 Погрешность

Мясо я выбрасываю раньше, чем отвечаю на уведомление. Собираю край пластиковой вилкой, кладу в отделение для пищевых остатков и закрываю крышку. Темное пятно исчезает. На устройстве имя Лили остается.

До завтра, двенадцати ноль ноль.

Я раскрываю запрос полностью. Требуется указать, завершен ли перенос исследования, приложить заключение или объяснить расхождение. Внизу есть предупреждение: отсутствие

ответа не сохраняет прежний режим наблюдения. Дело передадут другому врачу. Пациентке назначат внеочередной контроль.

Я могу не нажать ничего. Система особенно внимательна к такому способу выбора: она заранее приготовила человека, который нажмет вместо меня.

В семейном канале загорается вызов. Винсент вернулся, ожидает вечернего измерения. Я убираю устройство экраном вниз, хотя камера в медицинской комнате все равно видит этот жест. Рука, накрывающая бумагу, перевернутый экран, лишняя секунда перед ответом — я начинаю составлять против себя список, которого пока никто не потребовал.

Вейр сидит в кабинете с открытым воротом домашней рубашки. На шее след от жесткого края дневной одежды. Я прикладываю датчик, проверяю давление. Его тело утомилось от дня, так же как любое другое. Это не помогает мне желать ему здоровья.

— Здравия вам, — говорю я.

— Взаимного сохранения, доктор.

Он смотрит на мою кисть. Возле ногтя красная кожа.

— Новый состав для рук не подходит?

— Сухость. Я пользуюсь кремом.

— Запросите другой, если нужно. Нам не требуется больной врач.

Я записываю результаты. Он не отводит глаз от моей руки, пока я снимаю датчик. Мне кажется, что он заметил чернила, хотя их почти нет.

— Я прочитал пояснение, — говорит он. — Приемная доставляет сложности.

— В одном случае были неверно отображены архивные данные.

— В одном. А случаев два.

Я складываю кабель петлей. Если бросить его на стол, будет слышно, как дрожат пальцы.

— Второй требует завершения целевого контроля. Назначен повторный контакт.

— Вы возвращаетесь туда?

Я еще не запросила время. Грейс вчера предупредила, и сегодня я снова успела дать обещание быстрее, чем получить возможность его выполнить.

— Мне нужно ответить на запрос по записи до полудня. Для этого потребуется доступ к местному аппарату.

Он чуть поднимает подбородок.

— Для этого вам нужно туда ехать?

— Да.

Не вся передача требует моего присутствия. Но оценку изображения я должна подтвердить сама, и именно эту часть называю необходимостью. Вейр читает что-то на своем экране.

— Утром сначала дом. Потом с десяти до двенадцати. Закончите то, что начали. Я не хочу, чтобы незавершенный городской учет возвращался сюда через каждую смену.

Я благодарю. Время появляется в расписании прежде, чем я успеваю открыть запрос. Дом умеет превращать свое раздражение в мою возможность действовать.

— По Эвелин, — добавляет он.

Я останавливаюсь возле двери.

— Запрос на дополнительную оценку медицински обоснован. Текущее состояние требует уточнения до подготовки.

— Дополнительную или независимую?

— Специалиста, который не составлял план программы.

Он кладет ладонь на край стола. Ногти ровные, светлые. Я думаю о руках Лили и запрещаю себе думать о них в этой комнате: мое лицо слишком плохо умеет разделять людей, которых я сравниваю.

— Эвелин устала от неопределенности. Не увеличивайте ее.

— Без оценки я не могу подтвердить готовность к подготовительным вмешательствам.

— От вас никто не просит подтвердить раньше времени. Но вы не должны превращать предварительный план в угрозу. Нам всем пришлось научиться жить по программам.

Он говорит спокойно. В его «всем» нет людей, которым программа не назначила ни хлеба с корочкой, ни комнаты для выращивания одного семени.

— Я сообщила ей ровно то, что есть в документе.

— Тогда продолжайте так.

Он отпускает меня. Я не знаю, понял ли, что это обещание опаснее лжи: в документе существует ее имя без ее согласия.

Дома открытый завтрак стоит на прежней полке. Я не выбрасываю его сразу. Рассматриваю крышку, гладкий край, маленькую каплю влаги с внутренней стороны. Мэтью когда-то смеялся над моей привычкой ставить остатки в холодильник с невозможной надеждой: завтра захочется именно это. Он ел поздно, доставал тарелку, садился рядом. Я иногда оставляла больше, чем требовалось мне.

Теперь никто не доест оставленное.

Я закрываю контейнер и ставлю обратно. У этой еды нет будущего, но я еще могу не признать его до утра.

Спать ложусь в рубашке, которую не успела сменить. Из окна видна освещенная стена соседнего дома. В одном квадрате шевелится тень, потом исчезает. Раньше я искала в чужих окнах семейную жизнь. Теперь пытаюсь понять, есть ли у людей право выключить свет без уведомления.

На устройстве открываю запись Лили. Мне доступна история посещений, мои рекомендации, поручение по переносу. Изображение остается на аппарате. Я не могу сейчас увидеть его, и это дает отвратительную возможность представить, что увиденное было не таким отчетливым. Что я поспешила. Что одна женщина испугалась, другая устала, третья согласилась ассистировать, а прибор показал тень, которую можно принять за что угодно.

Я помню сердечную деятельность. Помню измерения. Помню, как Лили попросила говорить нормально.

Я закрываю историю, не изменив ни строки.

В три двенадцать просыпаюсь оттого, что рука затекла под телом. Несколько секунд уверена: это симптом. Лежу, не шевелясь, словно движение может подтвердить болезнь. Потом переворачиваюсь, кровь возвращается в кисть, пальцы покалывает. Объяснение приходит раньше облегчения. Облегчение не приходит вовсе.

Утром диагност лежит на краю раковины. Я держу его дольше обычного над грудью. Слышу гудение, счет времени, тихий голос из потолочного динамика: «Своевременное наблюдение сохраняет вас для близких». Близкие давно исчезли из моей квартиры, но прибор не получил поправки.

Он говорит «Чисто». Я смотрю на руку, на следы вчерашнего мытья. Болезнь может существовать без этой надписи, и надпись может существовать без здоровья. Я знаю оба обстоятельства. Все равно повторяю один участок.

Шестнадцатое марта. Восемь ноль пять. До полудня меньше четырех часов, а моя квартира продолжает требовать, чтобы я сначала победила невидимую опасность под собственной кожей.

Я останавливаю прибор до третьего прохода. Кожа уже горячая. Вода больно касается трещины возле большого пальца. Я надеваю униформу и застегиваю янтарный знак не с первого раза.

В доме Айви завтракает с отцом. Эвелин еще в комнате; утренний опрос заполнен, но я поднимаюсь к ней. Она открывает сама. Волосы распущены, на плече халата влажное пятно. Смотрю на него и только потом на лицо.

— Мыла голову, — объясняет она, хотя я ничего не спросила. — Вы очень внимательно смотрите на пятна, доктор.

— Простите.

Я проверяю состояние после изменения схемы. Она спала, тошнота меньше, нового ухудшения нет. О программе не заговаривает. Я сообщаю, что независимая оценка пока ожидает семейного согласования.

— Он сказал, вы не должны меня пугать, — говорит Эвелин.

— Мне тоже.

Она улыбается без веселья.

— Значит, вам хотя бы не передали другую версию.

Я объясняю, что действующее питание остается прежним, запрос по добавкам не закрыт. Она кивает. Мой служебный экран лежит на столике между нами, и я замечаю, как она следит за его светом.

— Вы сегодня опять уезжаете?

— В приемную. Ненадолго.

— Вчера вы вернулись как человек, который принес что-то, хотя руки были пустые.

Мне хочется попросить ее не рассматривать меня. Слово «рассматривать» здесь двусмысленно; один из его смыслов уже принадлежит учреждениям.

— Рабочий случай, — говорю я.

Эвелин смотрит на красную кожу возле моего ногтя.

— У вас тоже есть только рабочие случаи?

Я не отвечаю сразу. Она убирает руку со столика.

— Не говорите. Я вчера сама не хотела второй записи.

Мы заканчиваем осмотр. Я оставляю ей точное время следующей проверки, а не обещание, что все будет хорошо. В дверях она произносит:

— Берегите руки.

В этом пожелании нет программы. Оттого мне труднее его принять.

В десять двадцать один машина останавливается возле приемной. Плед убрали. На месте, где он лежал, светлый прямоугольник ткани, не примятой чужим весом. Я думаю, не связана ли замена с моими поездками, и сразу раздражаюсь: даже плед уже участвует в деле Лили.

Грейс встречает меня в коридоре. Она не удивлена. В расписании появился мой допуск, значит, ей известно столько же, сколько дому. Но о запросе она знает больше: его копия пришла в местный журнал.

— В четвертом сидит сверка, — говорит она. — Принимаем пока в третьем.

Я смотрю на закрытую дверь моего прежнего кабинета. За ней остаются аппарат, ширма, папка. Женщина у стойки протягивает мне ключ от третьего.

— Сохранного внимания вам, доктор.

Я беру ключ. Грейс не идет впереди, держится рядом. Ее булавка сегодня скрыта под манжетой, рукав стянут белой тесьмой.

В третьем кабинете узкое окно, заклеенное матовой пленкой. Через верхнюю полосу видно небо и край трубы прачечной. Терминал стоит на высоком столе; придется работать стоя или тянуться со стула. Грейс приносит папку Рэйчел.

— По обследованию ответ появился вечером. Я оставила для вас.

Я открываю. При осмотре выявлено образование, требующее уточнения тканевым исследованием. По изображению нельзя назвать его природу. План взятия материала согласован на девятнадцатое марта, местно; до этого контроль анемии и симптомов. Заключение не снимает тревоги, но и не дает основания объявлять женщину человеком с подтвержденным онкологическим диагнозом.

Рэйчел вчера прошла обе двери, потом вернулась домой. Подтверждение выхода есть в журнале.

— Она знает о следующем визите?

— Ей объяснили в отделении. Сегодня утром звонила, просила проверить, что предприятие получило.

Я проверяю освобождение. Оно ожидает подтверждения рабочего узла. Грейс ставит отметку для повторной сверки после обеда. Я прошу передать Рэйчел, что результат еще требует уточнения, и не использовать слово «чисто». Грейс смотрит на меня.

— Я его и не использую.

Я киваю. Она не обязана отвечать за слова, которые во мне произносит домашний прибор.

Из четвертого выходит незнакомая женщина в серой форме без врачебного знака. Примерно моего возраста, короткие темные волосы заправлены за уши. В руках планшет и тонкий блокнот с пружиной. Она спрашивает, я ли ответственный врач, хотя на моем допуске есть имя.

— Да.

— Селин Коль. Проверка полноты записей. Мне нужно ваше пояснение по восстановлению.

Она говорит быстро, словно у нас обычная совместная задача, из которой никто не выведет женщину под охраной. Я не знаю, каким количеством таких задач измеряется ее день.

Селин предлагает пройти в четвертый. Грейс остается у двери третьего.

— По местным действиям нужна акушерка? — спрашиваю я.

— Позже. Сейчас врачебная часть.

Она пропускает меня вперед. Кабинет тот же, но за столом сдвинули стул, клавиатура стоит прямо, без моего небольшого наклона. На накладке нет расписания. Аппарат включен; экран показывает список локальных исследований, а не изображение.

Я чувствую тошноту. В первую секунду она кажется доказательством болезни, потом я понимаю, как удобно было бы заболеть прямо сейчас: меня можно будет отвести в другую комнату, а разговор продолжится без моего решения.

— Здесь один целевой результат, — говорит Селин. — Посещение закрыто, результата нет. Локальное исследование есть. Передача не подтверждена. Объясните, что именно осталось незавершенным.

Я смотрю на имя Лили. Селин открыла сведения о времени и исполнителе; медицинская часть требует подписи назначенного врача перед включением в общий клинический архив. Эту границу создали, чтобы случайные изображения не становились диагнозами. Сегодня я удерживаю за ней то, что увидела достаточно ясно.

— Оформление результата, — говорю я.

— Сам результат установлен?

Во время первого осмотра я могла прикрыть паузу гудением аппарата. Сегодня тишина существует только между ее вопросом и моим ответом.

— Для окончательного целевого статуса требуется подтверждение.

Это фраза из инструкции к реестру. Она не описывает мою уверенность. Я слышу в ней свой прежний голос, тот, которым сопровождала решения, сделанные до моего входа в кабинет.

Селин проводит пальцем по планшету.

— Целевой анализ не выполнен. Причина четырнадцатого числа — восстановление оборудования. Пятнадцатого оборудование работало. Почему вы не выполнили?

— Я выбрала очную оценку и дальнейшее наблюдение.

— В заключении по очной оценке нет целевого результата.

— Он не оформлен.

Она поднимает глаза.

— Это мы уже установили. Мне нужно понять, почему.

В кабинете слишком тепло. Я вспоминаю лицо Лили, когда она сказала, что хочет остаться живой. Ни одного поля для этой причины на открытом экране нет. Я могу назвать ее здесь, вслух, и имя рядом с локальной записью немедленно станет частью другой истории.

— Изображение требует повторной оценки перед передачей как основания для маршрутизации, — говорю я.

— Техническая недостаточность?

Вот место, где можно остановиться. Сказать: нет, не техническая. Медицинское изображение отчетливое; недостаточен наш мир, который превращает его в распоряжение. Я могла бы произнести это предложение так красиво, что сама поверила бы, будто красота защитит Лили.

— Часть изображения недостаточна для окончательного оформления, — отвечаю я.

Селин берет блокнот, записывает несколько слов. Не нажимает на экран аппарата. Ее работа сейчас — проверить полноту передачи и получить подписанное объяснение. Если я назову исследование достаточным, задержка окажется нарушением без допустимой причины. Если недостаточным — медицинскую часть должен будет оценить другой специалист.

Я выбираю второй путь, хотя знаю, что он ведет к той же двери, только с другой стороны.

— Недостаточность установлена вами сегодня? — спрашивает она.

— Я повторно оценю перед ответом.

— Тогда не будем записывать ее как уже установленную. До двенадцати нужна подписанная причина непередачи. После этого незакрытый статус передают на контроль качества. Повтор у вас восемнадцатого?

— Предварительно.

— Будет совместный. Назначенного врача и контролирующего. Я отправлю согласование.

Она говорит это так, будто помогает мне найти свободное время. Я вижу, что предстоящий визит перестал принадлежать только пациентке и врачу.

— Пациентку уже вызвали?

— После назначения. По правилу надо согласовать рабочее освобождение. Сегодня мы ее не удерживаем, если вы об этом.

Я действительно об этом, и ненавижу легкость, с которой моя надежда становится читаемой.

Селин просит открыть очередь подтверждения. Я показываю ее. Она сверяет количество записей с местным журналом. После сбоя четырнадцатого осталось три исследования; мое одно из них. Остальные подтверждены сегодня утром. Грейс сохранила бумажные формы отдельно; их наличие еще будут сверять. Я вижу, как за имя Лили цепляются другие имена, которых не знаю.

— По всему шкафу? — спрашиваю я.

— По незавершенным за день. Если хранение общее, сверяется раздел.

Я вспоминаю нижний ящик и ключ в кармане Грейс. Вчера я рассчитывала, что бумагу хотя бы должны будут спросить. Теперь ее спросили.

Селин зовет Грейс. Акушерка входит, вытирая руки бумажным полотенцем. Слушает вопросы о восстановлении связи, времени переноса, хранении форм. Отвечает коротко, точно. На предложение подписать общий акт завершения не соглашается сразу.

— Я могу подтвердить свои действия, — говорит она. — Клиническое заключение не мое.

— Ваше участие указано.

— Тогда по нему и подпишу.

Селин смотрит на меня, словно ожидает, что я разрешу неудобную паузу. Я говорю, что мое пояснение уже содержит разделение действий. Она находит его, читает. Грейс держит полотенце в руке, не мнет. Белый прямоугольник постепенно намокает возле пальцев.

— Будет отдельный лист, — говорит Селин.

На этот раз я чувствую благодарность, которой можно доверять: Грейс не позволила мне снова расширить ее согласие до размеров моего выбора.

Когда Селин выходит к стойке, до полудня остается сорок минут. Я прошу несколько минут для оценки записи. Она напоминает о сроке и уходит, оставив дверь открытой. Грейс приносит мне стул.

Я открываю исследование Лили. Имя, дата, время. Зернистое изображение возникает в прежнем положении. Для неподготовленного взгляда здесь действительно мало ясного: серые области, темная полость, крохотное тело. Для меня достаточно. Я выбираю сохраненный фрагмент, проверяю измерения. Ничего за ночь не изменилось. Технический сбой не проник в ее тело, не стер его из изображения.

Сердечная деятельность на записи продолжается, хотя Лили сейчас нет в кабинете.

— Можно выключить повтор? — спрашивает Грейс.

Я останавливаю фрагмент. На экране остается неподвижный кадр. Я смотрю на него слишком долго; Грейс опускает глаза на мою руку.

— Вам плохо?

— Нет.

Она ждет.

— Мне страшно, — говорю я.

— Это я вижу.

В ее голосе нет насмешки. Она не предлагает воды, не зовет другого врача. Остается возле стола, позволяя мне быть испуганной и все еще отвечать за действие.

В пояснении я пишу, что ограниченное качество локальной визуализации не позволяет использовать запись как достаточное основание окончательного целевого заключения без повторной оценки. Читаю фразу. Убираю слово «окончательного», затем возвращаю: оно оставляет мне последнюю возможность прятаться внутри определения. Требуется совместное обследование на месте, без изменения маршрута до клинического решения.

Ограниченное качество — ложь. Не просто умолчание о том, что видели мои глаза. Я приписала аппарату недостаток, которого в этой записи нет.

Грейс видит пояснение. Я не предлагаю ей согласиться.

— Я не подпишу качество, — говорит она.

— Это моя оценка.

— Да.

Я ставлю свою подпись в одиннадцать двадцать семь. Внутри хочется, чтобы произошло что-то заметное: вспыхнул свет, сломался голос, изменилось отражение. Ничего. Руки остаются руками, чернильная полоска уже стерлась, красная кожа не отвечает на подпись.

Селин принимает пояснение. Проверяет, нет ли пропущенного поля. Перенос оставлен в ожидании клинического подтверждения; совместный контроль назначен на восемнадцатое, девять сорок. Решение до него не считается установленным. Отдельное уведомление уйдет рабочему узлу пациентки. Сохраняется местное наблюдение, внеплановый вывод из сектора сейчас не назначен.

Я спрашиваю, кто будет вторым врачом.

— Назначение поступит через контроль качества.

— Мне нужно согласовать свое присутствие с домом.

— Запрос уже направлен. Если не подтвердят, примет контролирующий врач.

Она возвращает мне планшет с принятой отметкой. Я добилаь того, чего хотела двадцать минут назад: сегодня Лили не вызовут на общий маршрут. Вместе с этим добилаь другого, о чем не просила: теперь ее осмотр назначен как проверка моей работы.

— Архив останется здесь? — спрашиваю я.

— До переноса. Локальные записи входят в сверку. Ничего не удаляйте и не переименовывайте.

— Не буду.

Селин не смотрит на меня подозрительно. Ее обычный тон страшнее: он позволяет мне услышать, как далеко я уже зашла без события, которое можно было бы назвать началом.

Грейс уводит меня в третий кабинет. Там женщина на стуле держит сложенное полотенце. При виде моего янтарного знака встает. Грейс говорит, что я здесь не принимаю, и женщина садится обратно, не спрятав разочарования.

— Из-за сверки наш врач на полчаса остановился, — объясняет Грейс в коридоре. — Электронные уже идут. Бумажные отложили, пока раздел не вернут.

Я смотрю на дверь четвертого. Селин разговаривает у стойки, другой сотрудник раскладывает серые обложки по датам. Среди них моя запись. Для женщины с полотенцем бумага нужна не потому, что она выбрала более безопасный способ существовать. Старый прием остался на бумаге после переноса системы. Теперь его не дадут врачу, пока не закончится проверка.

— Сколько людей ждут?

— Не считайте. Вы не знаете, кого позвали раньше, кого позже. Я сказала, что остановились. Это и есть то, что произошло.

Я готова превратить последствия в число, чтобы затем назначить себе наказание соразмерно числу. Грейс не дает. Ей нужно вернуть рабочий раздел, а не получить мое признание вины.

Я подхожу к Селин и прошу выдавать необходимые формы по одному с отметкой возврата. Моя оценка качества не имеет отношения к осмотрам других женщин. Селин отвечает, что журнал еще не завершен. Я повторяю просьбу в служебной форме, указываю задержку приема и медицинскую необходимость доступа к прежним данным. Она смотрит на настенные часы.

— Передайте номера текущих посетителей. По ним дадим.

Грейс приносит список. Я не делаю из этого второй победы. Женщина с полотенцем села ждать из-за процесса, который начался с моего решения; через несколько минут ей вернут то, что до моего решения лежало в обычном ящике.

В служебной комнате Грейс садится на край стула. На стене объявление о сохранении психологической устойчивости персонала. Под ним бумажный календарь, мартовский лист отогнулся возле нижнего края. На восемнадцатом нет ничего, кроме напечатанного числа. Я думаю, сколько событий уже поместилось в этот пустой квадрат.

— Вы увидите то же изображение восемнадцатого, — говорит Грейс. — Только рядом будет человек, которому не нужно вам верить.

— Я знаю.

— Нет. Вы сейчас знаете, что получили отсрочку. Остальное пока стараетесь не знать.

Я смотрю на пол. В кафеле трещина, заполненная темной массой. Ее можно вымыть, но нельзя вымыть из нее форму трещины.

— Что можно сделать для нее до осмотра?

Грейс не отвечает сразу. Я впервые задала вопрос, в котором помощь начинается с Лили, а не с моих документов. Но и этот вопрос может стать способом переложить следующий шаг на женщину, оставшуюся в приемной.

— Сначала спросить у нее, что ей нужно теперь. Вы вчера спросили, чего она хочет от беременности. Сегодня изменили ее рабочую карту. Она еще не знает, чем это для нее стало.

Я открываю уведомление рабочему узлу. Помимо времени осмотра, в нем предварительные ограничения труда при незавершенной репродуктивной оценке. Отдельный автоматический пакет. Вчера я рекомендовала щадящий рацион по тошноте; сегодня реестр сопоставил рекомендацию с незакрытым контролем. На экране указано: исключить часть нагрузок до оценки. Рабочее место сохраняется, изменение смены зависит от предприятия.

Я представляю пар прачечной, тяжелую влажную ткань. Уменьшение нагрузки должно бы помочь ей. Но оплачиваются часы на участке, а временный перевод требует другого допуска. Между двумя разрешениями можно остаться без смены. Я читаю поле про рацион: служебная выдача по отработанному времени.

— Она там живет, — говорю я.

— Знаю.

— Если уберут из смены...

— Посмотрите, что уже убрали. Не все сразу.

Грейс произносит это твердо. Я набираю рабочий узел прачечной через медицинский канал. Отвечает автоматическое сообщение: коррекция нагрузки передана мастеру, уточнение служебного рациона выполняется после отметки смены. Женский голос желает мне «ясного решения». Затем связь закрывается.

Двенадцать ноль четыре. Вейр ожидает обратный маршрут, машина у двери. Я запрашиваю десять минут для уточнения действующего назначения и получаю отказ: окно закончено. Можно вернуться после отдельного согласования. Уведомление совершенно вежливое.

Грейс читает его у меня на экране.

— Позвоните в приемную после возвращения. По обычному каналу. Если она придет, спрошу, согласна ли говорить с вами.

— А если не придет?

— Я не могу бросить смену и пойти за ней.

Я киваю. Больше не говорю, что это срочно. Срочность не создает второй Грейс.

У выхода встречаю Селин. Она застегивает блокнот, собирается переходить в следующий кабинет. Я спрашиваю, может ли целевой контроль приостановить выдачу питания. Она смотрит на меня с недоумением.

— Медицинская задача не приостанавливает питание.

— Служебное зависит от часов, часы могут изменить по ограничениям.

— Тогда это вопрос рабочего распределения. Назначение подтверждено, дальше отвечает предприятие.

Она произносит именно те слова, которыми могла бы ответить я, если бы женщина пришла жаловаться на отсутствие еды до Лили. Действие завершено в моей части; последствия принадлежат другому узлу. Так можно пройти через весь город, ни разу не встретив человека, который сделал что-то целиком.

Я выхожу. Машина запирает дверь и начинает движение еще до того, как я пристегнулась. На стекле сообщение об отклонении от времени возврата. Четыре минуты. Теперь у меня есть погрешность, которую легко измерить.

В доме я проверяю Айви после занятий. Она жалуется на маленькую болезненную точку на десне, где качается зуб. Осмотр обычный, угрозы, которой боится система, здесь нет. Я объясняю, что происходит. Айви спрашивает, нужно ли зуб сохранять для проверки.

— Когда выпадет, можно показать мне, если будет беспокоить.

— А если не будет?

— Тогда не нужно.

Она удивлена разрешением не принести часть своего тела в медицинскую комнату. Я не знаю, кто научил ее обратному. Может быть, я сама, когда прошлый зуб положила в пакет, потому что дом требовал отметить смену детского статуса.

Пока она рассказывает о нижнем стаканчике в саду, у меня звенит устройство. Винсент подтвердил мое участие в совместном осмотре восемнадцатого. К утру потребуется завершить домашние назначения; после приема — отдельное пояснение по качеству записи. Слова «по качеству» заставляют меня почувствовать жар в лице. Я гашу уведомление прежде, чем Айви успевает спросить.

Звоню в приемную в четырнадцать тридцать шесть. Грейс отвечает не сразу, за ее голосом слышно объявление номера кабинета. Рэйчел подтвердили освобождение на девятнадцатое, она получила сообщение. Лили еще не приходила. Я прошу связаться, если придет и согласится. Грейс говорит, что услышала, и заканчивает разговор; ей не нужно обещать, что она не забудет меня.

В пятнадцать пятьдесят восемь приходит вызов с того же канала. Грейс объясняет: Лили здесь, говорить согласна. Терминал стоит в комнате для опросов, запись ведется. Я подтверждаю, что понимаю.

Лили появляется на экране. Лицо ближе, чем было в кабинете, свет падает сверху, делая тени под глазами глубже. За ее плечом белая стена. Куртка расстегнута; белый шов теперь выглядит почти ровным.

— Мне дали перевод, — говорит она. — Но места нет.

Я спрашиваю, что произошло.

С прачечного участка сняли до уточнения нагрузки. Перевод в сухую сортировку возможен только после допуска, а допуск для работающей без подтвержденного целевого статуса запрашивают отдельно. В общежитии при прачечной оставаться пока разрешено. Служебный обед сегодня не отметили, потому что отработанные часы сократились. Рацион по месту проживания остается, но щадящую замену там ждут из другого узла. Она получила обычный утренний контейнер, съела немного, остальное не удержала.

— Вы говорили, часы допишут, — говорит Лили.

— Я говорила, что завершу явку. Ее завершили. Ограничение труда пришло отдельно.

Она смотрит в камеру. Я слышу свой ответ и узнаю голос Селин. Точный, правильно разделенный, совершенно бесполезный голодной женщине.

— Я не проверила, как ограничение повлияет на вашу выдачу, — добавляю я. — Нужно было проверить до того, как подписать.

— А теперь?

Не прощает, не обвиняет дальше. Хочет знать, что можно сделать, пока я нахожусь возле еды, которой не выдают ей.

Я открываю назначения и вижу возможность запросить медицинскую выдачу независимо от рабочей смены. Через местную приемную, на короткий период, с оценкой питания. Такая выдача есть не каждый день, запас ограничен. Грейс говорит, что после сегодняшних пациентов осталось две порции. Нужно подписанное назначение и отметка о выдаче. Я оформляю его по текущим жалобам и подтвержденному недостаточному приему пищи, без новых обещаний о последующих днях.

Лили смотрит, как я печатаю. Ее губы сухие, она облизывает нижнюю и морщится.

— Это опять пойдет на работу?

Я проверяю маршрут сообщения, прежде чем отвечать.

— Назначение останется в медицинской карте. Выдача здесь не требует отработанных часов. Из этой записи не идет отдельного распоряжения вашему предприятию.

— Тогда делайте.

Грейс подтверждает поступление. Лили получает сегодня одну порцию, вторую удерживать за ней без нового осмотра нельзя. Завтра можно прийти для оценки самочувствия и наличия выдачи. Она спрашивает, придется ли снова становиться в общую очередь. Грейс отвечает, что да, но у стойки нужно назвать назначение, не только явку.

Лили закрывает глаза. Я не вижу, что она делает рукой ниже края экрана.

— Я хотела работать, — говорит она. — Не возле горячего, если нельзя. Но работать. Вы сказали, мне нужно наблюдение, а получилось, меня убрали.

— Я попробую уточнить перевод по нагрузке.

— Не пробуйте сразу. Сначала скажите мне, что попросите. Я теперь от каждого вашего слова не знаю, что у меня исчезнет.

Я убираю руку с клавиатуры. Пауза тянется достаточно долго, чтобы в моей комнате включился очередной датчик движения.

— Хорошо. Сначала скажу.

Потом я рассказываю о совместном осмотре восемнадцатого. Ей еще не передали точное время: мастерица получила уведомление об освобождении, но Лили не видела врачебную часть. Я объясняю, что будет другой специалист, которому доступно сохраненное исследование. Не говорю, будто это обычный повтор.

— Вы отправили? — спрашивает она.

— Нет. Я подписала пояснение, что запись требует повторной оценки перед передачей. Теперь проверят ее и вас.

Лили долго смотрит в экран.

— Она ведь показывала. Я сама видела.

— Да.

— Тогда что оценивать?

Мне хочется сказать, что я старалась дать ей время. Время уже стоило ей обеда и части работы. Такая фраза потребует от нее благодарности за вещь, цену которой я назначила без ее ведома.

— Я указала недостаток записи, которого там нет, — говорю я. — Это мое решение. Оно задержало передачу, но назначило проверку.

Я произношу признание в записываемом канале. Не называю, что именно установлено на изображении. Все равно слова могут стать основанием для вопроса. Я слышу, как быстро дышу, и стараюсь не превратить признание в просьбу помочь мне успокоиться.

Лили касается белого шва.

— Мне теперь надо соврать вместе с вами?

— Нет. Вы не подписывали мою оценку.

— А если спрашивать будут не подпись?

Я молчу. Вчерашняя возможность отделить мой поступок от ее тела закончилась прежде, чем я ее заметила.

— Я не буду говорить, что ничего не было, — говорит она. — Вы же сами написали, что было. Нельзя сделать меня пустой, потому что вам так проще.

— Я не прошу.

— Пока.

За ее плечом появляется Грейс, говорит, что помещение нужно для следующего разговора. Лили кивает. Я спрашиваю, можно ли связаться с ней через приемную завтра. Она соглашается, если сама придет. В прачечную без ее согласия звонить не нужно.

— И мастеру не рассказывайте больше, чем уже ушло, — добавляет она. — Она сейчас хотя бы разрешила остаться.

Я обещаю не передавать личные сведения. На этот раз обещание касается конкретного действия, которое могу не выполнить.

Грейс выключает связь. На черном экране остается мое лицо. Я заметно старше, чем утром, но знаю, что зеркало не измеряет возраст каждые несколько часов. Изменилось то, на что я смотрю.

Мне хочется поехать к Лили, отдать свой контейнер, отвезти ее в безопасное место. Первое нарушит порядок питания и не решит завтрашней выдачи. Для второго нужен допуск. Третьего места я не знаю. Желание велико, потому что пока не имеет адреса.

Я открываю запрос на временную сортировку с ограничением нагрузки. Не отправляю. Составляю простое описание того, о чем могу попросить, чтобы завтра сначала прочитать Лили. Рядом пишу вопросы о жилье и питании. Не список того, что ей надлежит принять от меня, а того, что мне предстоит узнать.

Вечером Одри приносит новый запас чистых полотенец. Дверь медицинской комнаты открыта, в коридоре прошла Эвелин. Я спрашиваю, удалось ли сестре записаться.

— На завтра, — говорит Одри. — Она пока сердится.

— На вас?

— На то, что приходится идти. На меня проще.

Я не спрашиваю имени. Одри складывает полотенца, оставляет верхнее краем ко мне. Вдруг говорит:

— Если человек не может есть, не обязательно сразу искать еду. Иногда сначала нужен кто-то, у кого есть где ее разогреть.

Я смотрю на нее слишком быстро. Она замечает.

— Я про сестру. На работе выдали, а она принесла холодное, у них плиту отключали. Вы, доктор, всегда думаете про состав. Бывает еще место.

Она не знает о разговоре с Лили, насколько мне известно. Я не превращаю ее фразу в тайное предложение. Но впервые представляю помощь не как запас защищенных контейнеров, а как комнату с работающей плитой и женщину, которая может поставить на нее чужую порцию.

— Да, — говорю я. — Бывает.

Одри уходит. В коридоре желает работнице «теплого восстановления», обычные слова к концу смены. Я слушаю их уже после того, как шаги удалились.

Проверка приняла мое пояснение. Дом согласовал следующий выезд. Рэйчел получила свое освобождение. В отчете день можно представить как ряд завершенных действий.

Лили лишилась обеда и не знает, сколько продержится ее место при прачечной. Грейс потратила часть смены на бумаги, которые я оставила ей хранить. Другие женщины ждали, пока чужой страх получит правильное оформление. Ни одна из этих строк не появляется в итоговой форме автоматически.

Я открываю файл пояснения еще раз. «Ограниченное качество локальной визуализации». Мои слова. Рядом отметка принятия.

Три года назад мне говорили, что данные по Мэтью и Итану достаточны для немедленного маршрута. Я просила показать больше, получила ответ о действующем заключении. Тогда бумага знала все, а я — недостаточно. Теперь я знаю, и бумага говорит, что знает недостаточно. Мне хотелось оказаться по другую сторону того дня. Я нашла место, где могу воспроизвести его движение собственной рукой.

Я закрываю файл. Уничтожить его означало бы еще раз решить, что другие должны остаться без свидетельства моего выбора.

В саду горят лампы. На полке стоит маленький стаканчик, его край едва виден из медицинской комнаты. Мне больше не хочется искать в нем оправдание. Семя не обязано прорастать вовремя, чтобы подтвердить, что я все еще хороший человек.

Завтра Лили может прийти за порцией. Может не прийти. Я должна сначала спросить, разрешит ли она мне сделать следующий шаг.

Я ставлю напоминание на утро. Впервые за эти дни в нем нет слова «контроль».

Связаться, если согласится.

Глава 6 Чужое тепло

Первой утром загорается не медицинская строка. Напоминание лежит поверх расписания, в котором уже распределены мой выезд, осмотр Эвелин, домашние анализы, вечернее возвращение. Я написала его сама: связаться, если согласится.

Ни время, ни согласие в нем не подтверждены.

Я сижу на краю кровати, прижимая пятку к холодному полу. За стеной сосед кашляет. Три коротких звука, пауза, еще один. Я слышала его и раньше, но сегодня считаю паузы, будто от их длины зависит, можно ли выходить в коридор. Потом вспоминаю кашель сестры Одри. Знание о незаразности рака не делает стену толще; оно только лишает мой страх удобного объяснения.

Семнадцатое марта. До совместного осмотра Лили двадцать пять часов.

В холодильнике стоит позавчерашний завтрак. Я снимаю крышку, чувствую запах и сразу ставлю контейнер в возвратный лоток. Еду можно было убрать раньше. Я не сохраняла ее для себя; оставляла человеку, который не вернется на ужин, даже если я буду достаточно осторожна со всеми другими вещами.

На новой упаковке мяса мелкие капли. Я хочу промыть его. Уже поднимаю из контейнера, потом вижу, как сок попал в трещину на пальце. Щиплет. Я кладу кусок обратно и долго держу руку над раковиной, не включая воду. Непослушание собственному ритуалу дается почти так же трудно, как вчерашняя подпись. Оно не помогает Лили. Я не должна выдавать одно за другое.

Сканер допускает пищу. Я ем половину, остальное закрываю. Впервые проверяю не только срок, но и то, сколько времени сама потратила на осмотр контейнера. Двенадцать минут. За эти минуты где-то выдали завтрак людям, у которых нет возможности вернуть его из-за капли.

В доме Одри не берет мое пальто. Ее заменяет работница с круглым лицом и очень тихим голосом. На вопрос отвечает, что старшая получила личное окно. Я знаю, куда оно, возможно, понадобилось, и не спрашиваю дальше.

Эвелин уже в медицинской комнате. В руке у нее лист с распечатанным планом завтрашней встречи. Она кладет его на стол так, чтобы я могла прочитать.

— Дополнительную оценку включили, — говорит она.

Я смотрю на последовательность. Общая встреча с представителем программы, потом отдельное обсуждение состояния, затем решение о начале подготовки. Специалист прежнего плана заменен другим, но его заключение все равно вернется через семейный уровень. Это изменение, хотя не то, которого она просила.

— Вы будете со мной?

— Часть утра я в приемной. Могу присоединиться после возвращения, если медицинскую встречу поставят позже.

Эвелин смотрит на мои глаза.

— Я знаю про приемную. Мне сказали, нельзя менять вашу городскую часть, потому что там другой врач.

Она произносит «другой» без любопытства. Или удерживает его, так же как удерживает собственную просьбу.

— Я заранее подготовлю ваши текущие данные. Перед встречей смогу проверить, что вы получили объяснение плана.

— Хорошо. Не надо обещать присутствие, если не дадут.

Я киваю. Она берет лист, сгибает пополам, потом разглаживает. На белой поверхности остается слабая линия.

— А если я на встрече скажу, что не хочу?

— Я должна буду записать, что вы сказали.

— Даже если потом испугаюсь?

— Если измените решение, это тоже будет вашей записью. Не заменой того, что говорили прежде.

Она смотрит на лист еще несколько секунд, затем убирает его. Я не пытаюсь превратить вопрос в уже принятое решение.

Осмотр обычный. Вес почти не изменился, жалобы меньше. В ответе по предварительному питанию наконец появились сведения о согласовании добавок: часть требует отдельной корректировки. До нее обычный рацион сохраняется. Я объясняю Эвелин это без торжества. Проверяемый маленький недостаток назначения легче исправить, чем право человека отказаться от самого назначения.

В десять сорок девять звоню в приемную. Грейс отвечает, что Лили пришла, сейчас осматривается по жалобам у дежурного врача. Я спрашиваю, нужно ли мое участие. Нет. После осмотра ей предложат связь со мной, если она захочет.

— По выдаче? — спрашиваю я.

— Сегодня есть. Сначала пусть врач закончит.

Я закрываю канал. Грейс не рассказывает о теле Лили вместо Лили, и я учусь не принимать это за недоверие. Другой врач способен проверить ее состояние; я не единственный человек, который может помочь. От этой простой мысли мне почему-то становится страшнее. Будто необходимость во мне была последним оправданием вчерашней лжи.

В одиннадцать двадцать шесть приходит вызов. Лили сидит в комнате опросов. Лицо спокойнее, волосы у лба влажные, словно она умывалась перед тем, как сесть.

— Сегодня поела, — говорит она прежде моего вопроса. — Не все. Но осталось внутри.

Я спрашиваю о слабости. Дежурный врач осмотрел, признаков срочного ухудшения сейчас не отметил. Она получила питье и небольшую порцию, согласованную по вчерашнему назначению после новой оценки. На завтра выдача не закреплена. Лили говорит об этом ровно, без той злости, которую я заслужила; ровный голос не означает, что злость закончилась.

— У вас есть список, — говорит она.

— Да. Я хотела прочитать, что могу запросить по работе. Сначала вам.

— Читайте.

Я читаю простыми словами: временная сухая сортировка без тяжелых переносов и работы у горячего оборудования, сохранение доступного питания независимо от ожидания допуска, уточнение срока проживания при прачечной. Не отправленный запрос, а три разных вопроса. На каждом останавливаюсь.

Лили поправляет первый: не сортировка одна, там смены заполнены. Есть прием сухой ткани перед выдачей, более легкая работа, но учет ведут двумя людьми и свободное место зависит от того, кто выйдет вечером. Она знает предприятие точнее моего списка ограничений.

— И не пишите, что я не могу работать. Я могу другое.

Я меняю формулировку. Во втором пункте она просит не включать ее рацион в чужой рабочий запас: мастерица тогда будет должна вычесть у кого-то другого.

— Надо спросить, есть ли отдельная выдача. Если нет, я хочу знать, что нет.

На третьем замолкает.

— На бумаге пока до конца временного состояния. А мастер сказала, после осмотра будут решать заново.

— Где вы сейчас спите?

— В комнате на четверых. Две работают ночью. Там тепло, когда сушат. Но сейчас всем сказали не менять места. Из-за меня, кажется.

— Кто сказал?

— Старшая по этажу. Не знаю, это ей пришло или сама боится.

Лили смотрит за край экрана. Может быть, там Грейс; я не вижу. Потом снова на меня.

— Я вчера не хотела идти в комнату. Они спрашивали, почему обеда нет. Я сказала, из-за явки. Одна спросила, чего я там столько раз делаю. Я не сказала.

— Вам угрожали?

— Нет. Это хуже. Они помогают, а я вру. Одна принесла сухарь. Я не смогла съесть. Теперь думаю, она заметила.

Я помню собственное желание отдать ей защищенный рацион и увидеть, как она принимает его с благодарностью. Лили приходится отвечать даже за сухарь, который ее тело не смогло удержать.

— Вы не обязаны объяснять диагноз другим жильцам, — говорю я.

— Знаю. Только они рядом спят. Я не могу выйти из их комнаты, когда разговор закончился.

Я записываю это в личный черновик, не в карту. Недостаток места не является симптомом. Но сегодня влияет на ее состояние больше, чем все мои осторожные формулировки.

— Можно поговорить с мастерицей о возможной работе и питании? — спрашиваю я. — Без личного содержания исследования. Только про действующие ограничения и то, что вы готовы делать.

Лили думает.

— Со мной. И лучше на месте. Когда по связи, она всегда сразу смотрит в экран, что ей разрешено отвечать.

Я проверяю свое расписание. В доме вечерний прием с восемнадцати. Между двумя домашними задачами есть время, которое само по себе не является свободным. Я объясняю, что запрошу выезд для оценки доступной нагрузки; если не согласуют, не буду обещать приход.

— Тогда скажите, когда будет ответ.

Она разрешает передать имя мастерицы: Беатрис Соммер. Не разрешает говорить о беременности. Я повторяю границы, и она подтверждает, что услышала правильно.

После завершения разговора отправляю запрос в административный узел. Цель — уточнение рабочего назначения на предприятии с согласия пациентки, очно, в присутствии работницы и мастера. В нем нет ни слова об укрытии. Мне некуда ее укрыть, и я пока не знаю, хочет ли она этого от меня.

Ответ приходит после домашнего анализа Айви: окно с пятнадцати тридцати до семнадцати, без изменения вечернего ведения. Нужна итоговая отметка о согласовании нагрузки. Машина следует к приемной, от нее до прачечной можно пройти по рабочему направлению. Все это записано в двух строчках. Я читаю их и думаю о том, сколько комнат разрешается посетить человеку, если он умеет назвать посещение служебной необходимостью.

Лили через приемную передают время, она подтверждает. Я не звоню Беатрис одна.

Перед выездом возвращается Одри. Снимает обувь у служебного входа, ставит сушиться. На пальто мокрые пятна возле плеч, будто она долго ждала под крышей, с которой капало.

— Сходили? — спрашиваю я.

Она сначала смотрит на меня, потом на мои вещи, уже собранные для машины.

— Да. Снимок сделали. Еще проверять будут. Не сразу.

— Сестра дома?

— Дома. Сказала, теперь я довольна.

Я не знаю результатов. Снимок может требовать уточнения по множеству причин; у меня нет права узнавать их из уст сестры, которая не давала согласия передавать карту. Я спрашиваю только, объяснили ли ближайший шаг.

— Объяснили, — отвечает Одри. — Я записала. Она сама не хотела брать лист. Пришлось мне.

Мы стоим возле служебной двери. Ее руки пусты, но я вижу, как она продолжает сжимать невидимую бумагу.

— Если не поймете назначение, можете попросить уточнить, — говорю я.

— Понимаю я. Ей бы захотеть.

Она поднимает мое пальто с вешалки.

— Вы опять в Южный?

— По работе.

— Тогда не забудьте поесть до того, как будете объяснять другим, как им есть.

Я киваю. Ее замечание слишком точное, чтобы я могла спрятаться в служебной вежливости.

Машина привозит меня к приемной в пятнадцать пятьдесят два. У двери нет Лили. Я смотрю на часы, потом на рамку. Грейс выходит со свертком использованных простыней и говорит, что Лили ждет в соседнем здании. Я не спрашиваю, куда она могла исчезнуть. Нахождение вне моего поля зрения не равно исчезновению, хотя мое тело еще не умеет различать эти вещи.

Прачечная открывается сбоку. На двери написано: «Чистота продлевает участие». Рядом маленькое окошко, в котором нужно показать назначение. Лили стоит внутри, за стеклом, и машет мне прежде, чем работница успевает спросить имя.

Я поднимаю допуск. Мое лицо узнают, потом сверяют право прохода. Желание помыть руки возникает еще до того, как дверь отпирается.

Внутри жарко. Влажный воздух движется над полом, пахнет тканью, нагретым металлом и резким средством, которое не удастся назвать. На стене желтая полоса отделяет проход от рабочих мест. За ней женщины расправляют простыни на движущемся полотне. Руки должны отойти раньше края; машина не ждет, пока человек поправит пальцы.

Лили идет впереди. Без куртки она кажется меньше, чем в кабинете. Я вижу ее худые плечи, подшитый ворот, старый шрам на предплечье. Она не позволяет мне задержаться возле этого шрама взглядом: оборачивается, указывает на лестницу.

— Вверх не надо. Мастер здесь.

Беатрис Соммер стоит у стола выдачи. Широкое лицо, темные волосы собраны в тугий узел, короткие ногти. На левом запястье браслет допуска, на правом простая тканевая повязка. Она замечает, что я смотрю на нее.

— После горячего, — говорит. — Старый ожог. Наблюденный.

Последнее слово означает, что меня не просят открывать карту.

— Здравия вам, — говорю я.

— Сбережения сил, доктор.

Она не улыбается. Лили становится рядом с ней, ближе к проходу, чтобы не оказаться между двумя женщинами, которые решают ее устройство.

— Я согласна говорить про работу, — произносит она.

Беатрис кивает и поворачивает ко мне экран. Ограничения уже есть. Для горячего участка — временная пауза. Для приемки сухой ткани требуется допуск по нагрузке, который я могу уточнить медицински. Рабочее место выделяет другой узел. Вакантного места нет, но одна работница освобождена на уход за матерью; вечерние часы можно отдать Лили до ее возвращения, если распределение согласуют.

— Это не надолго, — говорит Беатрис. — Может, на две смены. Может, на одну. Вы не пишете, будто мы ее обеспечили. Мне потом отвечать.

Я осматриваю участок. Тяжелые мешки перемещает тележка, сухие вещи разбирают на столе, можно сидеть часть времени. Работа у сортировщицы все равно включает подъемы и наклоны; поэтому предлагаю именно приемку мелких готовых комплектов, без переноса больших пачек. Лили показывает, какие пачки считает небольшими. Я уточняю ограничения, про-

веряю, сможет ли она прерываться при ухудшении самочувствия. Беатрис отвечает, что перемены нужно включить в сменную отметку, иначе их снимут как простой.

Снаружи такое назначение выглядит одной строкой: щадящая работа. Здесь оно состоит из стула, тележки, чужих рук и того, разрешат ли человеку уйти от стола на пять минут.

Я читаю запись Лили до отправки. Она просит указать, что тяжелые комплекты должна передавать тележка, а не другая работница. Иначе рядом поставят женщину, которой придется выполнять две части работы, и та будет ненавидеть ее уже к концу первой смены.

Беатрис смотрит на нее.

— Это правильно. С тележкой напишите.

Я пишу. У этой просьбы есть точная форма, и мне стыдно, как долго я искала помощь только в собственном допуске.

По питанию Беатрис достает другую ведомость. Отдельной полной порции для ожидания допуска нет. Можно восстановить служебную выдачу после подтверждения часов, но вчерашняя не переносится на сегодня. Разовая медицинская выдача уже пришла из приемной, поэтому отмечать второй такой же обед предприятие не может. Лили слушает, не прерывая.

— Я не прошу два, — говорит она. — Я хочу знать про завтра.

— На завтра утром только домашний. После контроля зависит от допуска.

Завтра после контроля может зависеть весь ее мир. Я смотрю на Беатрис и понимаю, что она знает это иначе, чем я: не как изображение, а как день, когда рабочее место внезапно пустеет, а вещи в комнате остаются.

— Я могу подтвердить временную нагрузку до нового решения, — говорю я. — Не обещать итог осмотра.

— Вот это и подтвердите.

Она не требует объяснить целевой статус. Вероятно, догадывается; я не могу считать догадку знанием и не хочу давать ей дополнительные сведения без разрешения Лили.

Распределительный запрос уходит. Ответ ожидается к вечеру. До него новая смена не закреплена, но Беатрис разрешает Лили посидеть у стола и освоить порядок приемки. Без записи рабочих часов. Я спрашиваю, не будет ли это неоплаченным трудом. Беатрис впервые смотрит на меня с раздражением.

— Будет сидеть. Если встанет работать, отметим. Вы хотите, чтобы она пошла обратно в комнату, пока зеленое слово не загорится?

Лили берет пустой бланк комплектации.

— Я хочу посмотреть, — говорит она.

Я отхожу. Ее право остаться здесь не обязано выглядеть достаточно чистым для моего отчета.

Беатрис зовет женщину из-за стеллажа. Та выходит с небольшим чайником, обмотанным у ручки полоской ткани. Лет пятидесяти, один глаз чуть прищурен, короткие волосы без попытки спрятать седину. На зеленой рабочей кофте пришита заплатка другого оттенка. Она смотрит на мой знак, потом на лицо.

— Нелл, — говорит Беатрис. — Покажи комнату отдыха. Доктору надо подождать ответ.

— Мне тоже? — спрашивает Лили.

— Тебе тоже. Я позову, когда будет.

Нелл ставит чайник на стол и берет его снова, потому что никто не понесет вместо нее. Я предлагаю помочь. Она отвечает, что он горячий, и показывает на дверь.

Комната отдыха оказывается бывшим складом, разделенным легкой перегородкой. На одной стороне стол, четыре разных стула, под потолком камера. На другой узкая койка, шкаф с термосами, сушатся полотенца. Нелл ставит чайник на металлическую подставку. Из стены торчат два старых крючка, между ними протянута веревка. На ней висит детская кофта.

Лили смотрит на койку дольше, чем на чайник.

— Тут теперь можно лежать?

— Если свободно. После ночи Тесс спала, уже ушла.

Нелл протирает стол мокрой тряпкой. Я невольно делаю шаг назад, когда влага растекается к краю. Она замечает.

— Для пищевых поверхностей, доктор. Подписанная. Если хотите, покажу бутылку.

— Не нужно.

Слова выходят быстрее, чем доверие. Нелл убирает тряпку, моет руки у маленькой раковины, вытирает отдельным полотенцем. Все ее движения становятся подчеркнуто различными для меня. Я заставила женщину демонстрировать чистоту ее места, ничего еще не попросив.

— Я не проверять пришла, — говорю я.

Нелл смотрит на янтарную полосу.

— По вам не видно.

Лили садится на край койки. Ее ноги не достают до пола всей ступней. Она осторожно пробует поверхность ладонью, словно от этого станет понятно, кому разрешено спать здесь.

— Устала? — спрашивает Нелл.

— Да.

— Тогда обопрись. Не надо сидеть, как на выдаче.

Она подкладывает за спину Лили свернутое полотенце. Не спрашивает, что с ней. Лили впервые за все время рядом со мной принимает помощь без необходимости взглянуть на экран.

На столе коробка с разными крышками. Нелл достает две кружки, третью не берет.

— Вам не положено наше, я знаю. Здесь вода обычная. Можете свою достать.

— Я не взяла.

Она пожимает плечами и наливает Лили. Пар поднимается над кружкой. Никакого специального цвета, обычный горячий воздух над обычной водой. Мне вдруг хочется взять кружку не из жажды, а чтобы перестать быть женщиной, перед которой обязаны оправдывать тряпку.

Это тоже плохая причина пить. Нелл не просит доказательства моей смелости.

— Можно пустую? — спрашиваю я.

Она достает третью, ставит передо мной. Я держу ее за ручку и чувствую холодную керамику. На боку отбит небольшой кусок глазури; под ним сероватая основа. Я оставляю палец рядом, не касаясь острого края.

Лили понемногу пьет. Спрашивает, до которого часа комната открыта. Нелл отвечает: пока есть смена, но койка по местному журналу. Для дневного отдыха достаточно отметки мастера. Ночью здесь иногда остается женщина после длинной смены, если следующая начинается рано. Приходит старшая, сверяет имя. Кровать всего одна.

— А если у меня смены нет?

Нелл смотрит на нее внимательнее.

— Тебе нужна ночь?

Лили кивает.

Я не говорю вместо нее о четырехместной комнате. Нелл ждет, и Лили продолжает сама:

— Хочу, чтобы никто не спрашивал, почему завтра иду. Хотя бы сегодня. Я не могу все время отвечать, что не знаю.

Нелл садится напротив. На ладонях толстые полосы огрубевшей кожи, в складках видно белое средство, которое не удалось отмыть полностью.

— У меня комната на этом этаже, после лестницы. Я здесь по хозяйству живу, не в общей. Плита есть. Лечь можно на раскладном, если его вынести из шкафа. Но если старшая спросит, я скажу, что ты у меня. Я не хочу, чтобы ночью начали искать по всем.

Лили смотрит на меня. Я ничего не обещаю за эту комнату.

— Завтра назначение здесь рядом, — говорит она.

— Я слышала от Беатрис про новое время. Можно утром разбудить.

— А Беатрис надо говорить?

— Надо. Жилье при прачечной ее ответственность. Мне помогать тоже не разрешено одним желанием.

Нелл не украшает предложение. У него есть раскладная кровать, разрешение мастерицы, запись ночного присутствия. Из такой комнаты нельзя исчезнуть незаметно. В ней можно выпастся, не придумывая ответ соседке каждый раз, когда идешь к умывальнику.

— Вы не знаете, что со мной, — говорит Лили.

— Ты сама скажешь, если мне нужно будет знать, чтобы помочь. Пока знаю: ты устала и хочешь лечь.

Я вижу, как Лили осторожно отпускает напряжение в плечах. Оно не исчезает; только перестает удерживать голову так высоко.

— Доктор знает, — добавляет она.

Нелл поворачивается ко мне. Не предлагает сообщить диагноз. Спрашивает, требуется ли помощь ночью, за которой нужно обращаться срочно. Я объясняю только признаки ухудшения, при которых нельзя ждать утреннего осмотра, и говорю, что сейчас по сегодняшней оценке срочного вмешательства не требовалось. Лили слышит каждое слово, поправляет, что новых болей не было. Я подтверждаю ее поправку.

— А печать, что у меня можно ей быть, дадите? — спрашивает Нелл.

— Я не распределяю жилье.

— Тогда не ставьте медицинскую, чтобы они решили, будто здесь палата. Я уже видела, как из комнаты делают место наблюдения. Потом у хозяйки спрашивают, почему она ушла на работу.

Я киваю. От моего присутствия предложение ночлега может получить слишком тяжелое назначение. Нелл нужна возможность оставить женщину на раскладной кровати, не стать ответственным учреждением.

— Можно сказать, что по состоянию ей нужен отдых, — говорит Лили. — Не что она за мной смотреть должна.

Мы формулируем именно это. Рекомендация относится к Лили; Нелл не становится медицинским персоналом, комнату не записывают как место лечения. Я читаю текст обеим. Нелл просит не указывать ее имя в медицинской части. Оно будет в местном журнале жилья, где ему и положено быть. Лили согласна.

В дверь заглядывает женщина с двумя полотенцами на плече. Увидев меня, молча идет к шкафу, берет термос. Нелл представляется за нее:

— Тесс. Ночная.

Тесс не поворачивается. На боку термоса стальная заплата, крышка другого цвета.

— Не надо, — говорит она. — Я уже отмеченная.

Мы молчим, пока она наливает воду. Потом она смотрит на Лили.

— Ты из верхней комнаты?

Лили кивает.

— Белл одну оставили до утра. Она жаловалась, что у нее теперь за двоих мокрые комплекты.

— Меня сняли, — говорит Лили.

— Знаю. А другую не поставили.

Тесс не обвиняет ее прямо. Ее плечо красное там, где лежат полотенца, рука держит термос с усилием. Одно уменьшение нагрузки уже легло на другую женщину, хотя я тщательно вписала тележку для еще не начавшейся работы.

— По горячему участку нужна замена, — говорю я.

Тесс смотрит на меня.

— Я бы не догадалась, доктор.

Я замолкаю. Она завинчивает крышку. Нелл спрашивает, унесет ли она полотенца на верхний шкаф. Тесс отвечает, что унесет, выходит. Дверь остается открытой, и шум машин заполняет комнату.

— Она не злая, — начинает Нелл.

— Не надо, — говорит Лили. — Ей тяжелее стало. Я слышала ночью, как она дышала, когда ложилась. Я поэтому и не хочу в комнату.

Нелл не продолжает оправдывать Тесс. Помощь между женщинами не делает их работу легче по одному произнесенному слову. Они умеют принести сухарь и все равно сердиться на человека, из-за которого две руки должны успевать за четырем.

Лили ставит кружку. Смотрит на меня.

— Можно еще попросить замену? Не про меня, про оставшееся место. Беатрис говорила, учет теперь не дает открыть, пока не решат, надолго ли я.

Я обещаю проверить, могу ли подтвердить временный характер ограничения без вывода о будущем. Не отправляю просьбу из комнаты. Мы возвращаемся к Беатрис вместе.

Ответ по приемке сухой ткани уже пришел: на сегодняшние вечерние часы допускается временное распределение после подтверждения медицинской нагрузки. За Лили остается окно, которое может закончиться, когда вернется прежняя работница. Я утверждаю нагрузку, Беатрис вносит часы. Вторая часть, замена на горячем участке, требует ее рабочего запроса. Мой комментарий может подтвердить, что Лили сейчас на прежнее место не возвращают, поэтому удерживать его как фактически занятое неверно.

Я так и пишу. Трудовую замену назначает узел. Беатрис читает и не благодарит, проверяет слова по своей ведомости.

— Теперь хотя бы есть с чем спорить, — говорит она.

Лили стоит возле стола. Нелл объясняет про ночлег. Беатрис хмурится.

— Если завтра утром придут проверять присутствие, я должна знать, где она. Из одной комнаты не можем в другую молча.

— Отметим, — говорит Нелл. — Одна ночь. Утром уйдет на назначение.

— Лили, это ты просишь?

— Да.

Беатрис поворачивает к ней маленький экран с ночной записью. Прежняя комната не снимается с постоянного распределения, местное временное размещение у хозяйственной работницы действует до утра. Это не перевод адреса. Старшая по этажу увидит, что Лили не исчезла. Каждая из этих точностей отнимает у ночи возможность быть укрытием от реестра; оставляет возможность быть укрытием от вопросов.

Лили подтверждает. Нелл касается рукава ее кофты, не тянет к себе.

— Тогда после часов приходи. Комнату покажу сейчас, если хочешь.

Беатрис смотрит на меня.

— В свой отчет не пишите, что мы обеспечили медицинское наблюдение. Не обеспечили. У нее доктор в приемной завтра.

Я отвечаю, что рекомендация об отдыхе и временная работа оформлены отдельно. Мне приходится произнести это вслух перед всеми. Здесь уже никто не позволяет моему медицинскому языку расширяться сам собой.

До обратного выезда двенадцать минут. Лили просит пройти к комнате вместе. Нелл ведет нас через короткий коридор, где стены суше, но запах средства остается. За дверью узкая жилая комната с кухонным углом. Плита на две конфорки, подоконник заставлен банками с крышками, возле кровати обувь, аккуратно сложенная пара к паре. На стене фотография женщины с ребенком. Лица выпвели сильнее одежды.

Я не спрашиваю, кто они. Нелл достает из шкафа раскладную кровать. Лили берет другой край, я помогаю придержать ножку. Несколько секунд мы просто раскладываем вещь, которой три женщины намерены пользоваться сегодня. Металл скрипит, одна опора не встает на место. Нелл знает, куда нажать, и механизм сдается.

Я замечаю пыль возле шарнира, хочу вытереть. Не двигаюсь. Мне не поручено очищать эту комнату до состояния, в котором я смогла бы терпеть собственное присутствие.

Нелл кладет матрас, покрывает его простыней. Она из прачечного запаса, но не из сегодняшних комплектов выдачи: старая, с двумя зашитыми разрывами. На углу чернильная отметка снятия с общего оборота. Для гостей такие вещи приходится сохранять с доказательством, что их не украли у будущего постельного места.

— Есть что разогреть? — спрашивает Нелл.

Лили показывает небольшую часть домашнего рациона в закрытой упаковке. Она взяла с собой, потому что боялась оставить в общей комнате после утренней тошноты. Я смотрю на этикетку. Номер партии другой, не тот, о котором предупреждала Одри. Это не делает ее без-опасной или опасной в моих глазах; просто не дает сегодняшней тревоге присвоить вчерашний номер.

Нелл ставит маленькую кастрюлю с водой на плиту. Конфорка нагревается, красная точка отражается в металле. Я слышу щелчок и вдруг вспоминаю нашу кухню: Мэтью поворачивал регулятор, Итан говорил, что красное — как солнце внизу. Я не ждала, что это придет здесь, между чужой кроватью и чужой порцией.

Горло сжимается. Я смотрю на фотографию, чтобы не смотреть на плиту. Оттого стано-вится хуже.

— Присядьте, — говорит Нелл.

— Машина скоро.

— Можно стоять, но не держаться за горячее.

Я убираю ладонь с края плиты. Металл возле конфорки еще не нагрелся сильно, все равно пальцы красные. Я не заметила, как подошла.

Лили смотрит на мою руку.

— Вы здесь?

Вопрос тихий, без жалости. Я помню, как сама возвращала себя в кабинет при звуке двери. Теперь она спрашивает вместо того, чтобы требовать, чтобы я продолжала быть врачом.

— Здесь.

Я сажусь на единственный свободный стул. Нелл берет чистую ткань, смачивает прохлад-ной водой, подает мне. Я прижимаю ее к пальцам. Маленькое бытовое повреждение, ничего страшного. Слишком похоже на удобный повод думать только о коже.

— У меня тоже иногда не сразу здесь, — говорит Нелл, стоя у кастрюли. — После ночи. Ставишь воду и идешь искать чайник, который уже держишь. Если нет опасного рядом, можно переждать.

Она не называет болезнь, не сравнивает нашу жизнь. Я благодарна за обычную неточ-ность ее объяснения. В нем мне дают посидеть, не требуя рассказать, чем заслужила стул.

Лили проверяет простыню, выравнивает угол. Не просит помочь. Она собирается пере-нести сумку из своей комнаты после вечерних часов. Я спрашиваю, что она думает о завтраш-нем осмотре.

— Не хочу идти.

Я молчу.

— Но не идти — они уже знают, куда прийти. Теперь еще и Нелл найдут. Я сама отметила.

— Можете не оставаться здесь, если не хотите этой записи, — говорит Нелл.

— Я хочу остаться. Просто хочу понимать.

Лили поворачивается ко мне.

— Если уйду из прачечной вообще, что будет?

Я объясняю пределы того, что знаю: неявка на обязательный контроль станет видимой, рабочая и жилищная записи остаются, нынешний медицинский статус не исчезнет от смены места. Не предлагаю маршрут, которого нет. Не советую остаться ради Нелл или меня.

— То есть вы не знаете, куда можно уйти, — говорит она.

— Не знаю.

Она кивает. Смотрит на раскладную кровать.

— Тогда сегодня здесь. А завтра я сама скажу, что со мной. Я не хочу, чтобы другой врач разговаривал только с вашей записью.

Я чувствую одновременно облегчение и ужас. Ее решение прийти позволит мне встретить проверку рядом с ней. Может привести к тому, чего я пыталась избежать. Мне нельзя принять первую часть за основание желать второй.

— Я буду там, — говорю я. — Мое время подтверждено. Если изменят, сообщу через приемную.

— И не говорите за меня, пока не спросят. Вы можете про аппарат. Я про себя.

Я соглашаюсь. Нелл выключает конфорку. Вода нагрелась, упаковку ставят в миску, рядом кладут ложку. Лили пробует немного, ждет. Никто не торопит ее доесть.

Над плитой висит маленькая табличка о недопустимости совместного употребления рационов разных категорий. Ей много лет; угол бумаги потемнел, слова остались. Нелл не делит порцию Лили. Не дает ей тайного лекарства. Разогревает то, что разрешено держать в ее руках, и ставит рядом место, где можно не отвечать за каждую ложку.

В устройстве загорается обратный маршрут. Я встаю. Нелл хочет забрать мокрую ткань, я сначала собираюсь сложить ее так, чтобы не коснуться чужой воды. Замечаю собственное движение и передаю просто за сухой край. От моего маленького отказа от ритуала она не становится в большей безопасности. Мне все же легче смотреть ей в лицо.

— Спасибо, — говорю я.

— Это она здесь будет, — отвечает Нелл, кивая на Лили. — Ей скажете, если надо.

Лили провожает меня до коридора. В дверях говорит:

— Она не спросила, кого я жду.

Я не сразу понимаю. Потом смотрю на ее живот под свободной кофтой и отвожу глаза.

— Вы тоже не спрашивайте пока.

— Не буду.

Она возвращается в комнату. Я слышу, как Нелл объясняет, куда поставить обувь, чтобы ночью не споткнуться. Голос обычный, хозяйственный. В нем достаточно будущего до утра.

Машина ждет. Я возвращаюсь к приемной через соседний проход, подтверждаю завершение рабочего посещения. На стекле появляется время, семнадцать ноль две. Две минуты. В этот раз я не считаю их доказательством того, что вся помощь испорчена.

В доме Эвелин спрашивает, успела ли я поесть. Я отвечаю, что да, хотя в прачечной не ела. Помню замечание Одри и понимаю, что снова использовала короткую ложь, чтобы закрыть чужую заботу. Исправляю:

— Утром. Днем не успела. Сейчас возьму рацион.

Эвелин не говорит ничего. Отодвигает свое служебное устройство, освобождая место для моего. Маленькое движение не означает, что она знает, где я была и чего боюсь. Я принимаю его без объяснения.

После осмотра отмечаю нагрузку Лили и временное согласование работы. Медицинская рекомендация об отдыхе остается в ее карте. Ночное размещение — в журнале прачечной, имени Нелл в медицинской части нет. Я не объединяю записи, чтобы рассказ о моей помощи выглядел полнее.

Одри приносит контейнер. Пломба ровная. Я проверяю один раз, открываю, начинаю есть, пока еда теплая. Кусок задерживается во рту: мне вспоминается чужая ложка возле нагретой миски. Я глотаю и не могу решить, что сильнее — страх перед пищей или стыд перед женщиной, которой разогретая порция досталась после стольких разговоров.

В девятнадцать четырнадцать приходит подтверждение сменных часов Лили. Сегодня приемка сухой ткани состоялась. Отдельной отметкой — временная замена на горячем участке разрешена к следующей смене; имя заменяющей мне недоступно. Это не обещает, что Тесс станет легче, но оставляет возможность, которую утром закрывали из-за неопределенности.

Я не звоню Лили проверить, благодарна ли она. Она знает о своей смене больше меня. У нее есть ночь, которую я не должна снова занимать вопросами.

В двадцать ноль семь поступает новое назначение по завтрашней проверке. Контролирующий врач — Ада Рейн, старший специалист репродуктивного надзора. Врачебная часть локального архива открыта ей для предварительной оценки. Доступ зарегистрирован в девятнадцать пятьдесят три.

Я читаю время. В тот момент Лили, возможно, снимала обувь в комнате Нелл. Я вижу узкую кровать, простыню с чернильной отметкой, миску на столе. Другой человек в другом месте уже получил право увидеть то, что я назвала недостаточным.

Через минуту приходит короткое сообщение от Ады Рейн: «Пояснение по качеству записи обсудим до входа пациентки. Будьте в кабинете в девять двадцать».

Она не пишет, что увидела. Ей не требуется.

Я открываю подтвержденный выезд. Могу прибыть к этому времени, если начну домовое ведение раньше. Запрашиваю сдвиг на двадцать минут. Ответ приходит почти сразу: согласовано. Чем точнее складывается расписание, тем меньше в нем места для моей надежды на случайность.

Я думаю о том, чтобы предупредить Лили сейчас. О чем? Что врач получил доступ, который и так должен был получить. Что я боюсь. Ей уже известно о совместном осмотре; моего страха у нее достаточно. Новых инструкций, которые помогли бы ей, у меня нет.

Я сохраняю сообщение. В завтрашней карте остается мой ложный текст. В локальном исследовании — то, что текст пытался задержать. В прачечной — женщина, которая сама решила прийти.

Ночью диагност на полке будет выглядеть как обещание еще одного утра. Я не беру его для внеплановой проверки. Смотрю на красное место у пальца, где ткань Нелл оставила влажный след. Никакой гарантии она мне не дала. Просто приложила прохладную воду к коже, когда это было нужно.

Мне предстоит научиться делать не меньше и не приписывать себе большего.

Я выключаю настольную лампу. Зимний сад остается освещенным. Где-то в Южном две женщины договариваются, кто первым встанет к умывальнику.

До девяти двадцати остается тринадцать часов.

Глава 7 Право на тело

В пять сорок окно еще черное. В нем отражается моя рука, поднятая к выключателю, и несколько секунд кажется, что по другую сторону стекла тоже кто-то собирается включить свет. Я отвожу глаза первой.

Восемнадцатое марта. Устройство показывает обычный утренний допуск. На коже возле большого пальца остается красное пятно. Я проверяю его при свете, не прикладывая диагност: вчерашнее тепло, вчерашняя плита. У пятна есть причина, которую я видела. От этого оно почти успокаивает.

До начала домашнего ведения сорок минут. Я достаю завтрак, проверяю пломбу и состав, затем снова беру упаковку, чтобы прочесть номер. Останавливаюсь на третьей цифре. Не

потому, что перестала бояться. Мне надо выйти вовремя. Иногда предел моему страху ставит только чужое расписание.

На последнем глотке вода застревает в горле. Вспоминаю фразу Ады Рейн: до входа пациентки. Она заранее определила, какое время принадлежит мне, а какое Лили. Между нами будет двадцать минут, в течение которых обо мне можно говорить без нее, о ней — без нее, и все, что мы решим, назовут подготовкой приема.

В доме еще не открыли зимний сад для утреннего обхода. Лампы горят за дверью, листья прижаты к стеклу. У одного растения нижний лист пожелтел; снаружи это почти незаметно, потому что желтизна совпадает с оттенком света. Я прохожу мимо. Сегодня у меня нет времени даже на то, чтобы подумать, как хорошо здесь спрятано умирание.

Эвелин сидит в медицинской комнате уже одетая. Темное платье, застегнутые манжеты, волосы убраны. Она выглядит так, будто ожидает гостей, которых нельзя попросить снять обувь.

— Здравия вам, — говорю я.

— На сегодня хватило бы ясности.

Я ставлю сумку на стол. Давление, пульс, короткие вопросы. Все обычное происходит раньше обычного, и тело Эвелин еще не успело приготовиться к своим цифрам. Она зябнет. Я предлагаю плед; она сама достает его со спинки кресла.

— Оценку поставили на двенадцать двадцать, — говорит она. — После общей встречи. Вы успеете?

— Если прием закончится в установленное время.

Она кивает, не спрашивая, что может его задержать. На столе лежит новая версия плана. В нижней строке, под именем другого врача, написано: «Готовность к началу предварительного этапа подлежит уточнению».

— Вчера там было решение, — говорит Эвелин.

Я читаю всю страницу. Решение перенесено в заголовок общего семейного обсуждения. В отдельной части теперь уточняют готовность: состояние, питание, ограничения. Два листа похожи настолько, что разницу можно назвать редакционной.

— Я сохраняю оба, — говорю я.

— Для чего?

У меня нет хорошего ответа. Сохранять — не значит возвращать прежний смысл. Бумага не удержит дверь, когда ее начнут закрывать.

— Чтобы на оценке было видно, о чем вы просили.

Эвелин смотрит на манжету измерителя, свернутую возле моей руки.

— А если видно, но не имеет значения?

— Тогда придется отдельно записать, что вы сказали.

Она опускает глаза. Я хочу добавить что-нибудь, что сделало бы эту фразу полезнее. Не добавляю. Уже слишком многие мои обещания имеют форму будущей записи.

Айви приходит перед моим выездом. В ее ладони коробочка для выпавшего зуба. Сам зуб остался на месте, она показывает коробочку, которую приготовила заранее. Внутри кусочек мягкой ткани.

— Его можно положить сюда, — говорит она, — чтобы не стучал.

Я смотрю на маленькое гнездо, на ее осторожные пальцы. Недавно я разрешила оставить зуб дома, если не будет жалоб. Сегодня она приготовила ему место. Так быстро дети учатся обращаться с тем, что от них отделяется.

Эвелин закрывает коробочку вместе с ней. Я успеваю проверить, что утренние назначения выполнены, и выхожу в служебный коридор. Одри там нет. Другая работница вручает мне контейнер на дневное время. Я беру его обеими руками. Не спрашиваю, почему он тяжелее

вчерашнего: вес еды не сообщение, хотя мое тело постоянно пытается прочитать в нем чужой замысел.

Машина проходит Верхнее кольцо без остановки. Внизу, у разделительного перехода, люди стоят перед пищевым узлом. На экране над ними движется белая линия и складывается в грудную клетку. «Забота начинается до симптома». Каждая буква появляется раньше, чем исчезает предыдущая, и некоторое время фраза выглядит как переполненная карта.

Я знаю, что раннее обнаружение может спасти. Этот факт больше не помогает мне смотреть на экран. Слова захвачены вместе с тем, что они означают. Чтобы ненавидеть лозунг, мне приходится удерживать в себе его правду, иначе я начинаю ненавидеть и собственную профессию.

У приемной девять двенадцать. Грейс отворяет дверь кабинета четыре своим ключом. На ней чистая туника, но булавка прежняя. Рядом с камерой горит маленькая лампа. Я замечаю ее прежде, чем лицо Грейс, и мне становится стыдно.

— Она уже здесь, — говорит Грейс.

— Лили?

— С восемью пятидесяти. Нелл проводила до входа. Потом ушла на работу.

Я представляю две женщины у рамки. Одна возвращается к чайнику, другая остается ждать, и расставание не требует ни клятвы, ни пароля. Вчерашняя комната закончилась там, где и должна была закончиться: у порога назначения.

— Поела немного, — добавляет Грейс. — Сама скажет.

Серая папка стоит на столе. Из нее вынут честный лист моего первого осмотра. Он лежит отдельно, в прозрачной обложке. Я узнаю наклон собственной подписи. Не думала, что почерк может вызывать такое телесное отвлечение: я словно вижу руку, которую не успела отдернуть.

— Просили подготовить, — говорит Грейс. — Только этот случай. Остальные записи не брали.

— Вас спрашивали?

— Как сохраняли. Ответила, как сохраняли.

Я киваю. Она не должна успокаивать меня тем, что не соврала вместе со мной.

Ада Рейн появляется в девять восемнадцать. Никакой особой формы: темно-зеленый врачебный костюм, серое удостоверение на коротком шнуре. У нее узкое лицо, светлые ресницы, волосы собраны без пробора. Возраст я не могу определить. Некоторые лица здесь теряют годы, когда человек перестает ждать от разговора чего-либо неожиданного.

— Здравия вам, коллега.

— Сбережения сил, — отвечаю я и слышу, что выбрала приветствие Беатрис.

Ада на мгновение поднимает глаза. Может быть, заметила. Может быть, только сверяет лицо с именем.

— Акушерку пригласим на клиническую часть, — говорит она.

Грейс остается у двери.

— Местный журнал нужен?

— Сейчас только обложка хранения и запись исследования. Журнал позднее, если понадобится.

Грейс кладет ключ на свой рабочий поднос и уходит. Ада садится за стол, на место, с которого я обычно вижу дверь. Мне остается стул пациентки. Я сама подтягиваю его немного в сторону. В этом движении столько жалкой заботы о своем достоинстве, что хочется перестать двигаться вовсе.

— Вы открывали исследование после восстановления доступа? — спрашивает Ада.

— Да.

— Когда?

Я называю дату. Она сверяет, не комментируя.

— На изображении достаточно данных для предварительного клинического заключения. Вы внесли его на бумагу. Потом указали ограниченное качество локальной визуализации. Объясните расхождение.

Я смотрю на угол стола. Там старый след от жидкости, светлее остальной поверхности. Вчера я держала пустую кружку. Сегодня хочется, чтобы и здесь можно было держать что-нибудь, вместо того чтобы располагать свои руки на виду.

— Качество изображения не было основанием для задержки, — говорю я.

— Что было?

Время еще не девять двадцать пять. Я могла бы говорить медленно, использовать оставшиеся минуты, оставить ей меньше места. Но пациентка уже сидит за дверью. Продлевать мою защиту ее ожиданием — еще один способ взять у нее то, что мне нужно.

— Я боялась последствий регистрации для пациентки без назначенного союза.

Ада смотрит на меня прямо. Светлые ресницы делают взгляд почти бесцветным.

— Вы боялись последствий или считали результат сомнительным?

— Боялась последствий.

Она переворачивает экран. В моем пояснении выделена одна строка. Ни красного, ни тревожного звука. Просто бледная заливка, как желтизна листа за стеклом зимнего сада.

— Это не исправление технической неточности, — говорит Ада.

— Я знаю.

— Пока вы говорите это мне. Письменное пояснение нужно отдельно. Прежняя запись останется в истории.

— Я не прошу убрать ее.

— Просят редко. Обычно рассчитывают, что следующая формулировка заменит предыдущую.

Она кладет рядом два листа: медицинский итог и лист служебного разбора. Первый пока пуст. Во втором уже напечатаны даты и мои доступы.

— Кто еще принимал решение о задержке?

— Я.

— Бумагу хранит акушерка.

— По местному порядку хранения. Заключение мое. Пояснение качества тоже мое.

— Я спрашиваю о решении.

— Только я.

Ада делает пометку. Я не знаю, защитила ли Грейс или только слишком поспешно отделила ее от себя. Грейс могли спросить не о моем решении, а о том, почему она продолжала работать рядом. Здесь помощь всегда можно переименовать задним числом.

— Клиническую часть сегодня завершите под совместной подписью, — говорит Ада. — Предварительный статус поступит в репродуктивный реестр. Сведения об обстоятельствах — в отдельную оценку. Изображение не требует повторения ради той же информации. Осмотр по текущим жалобам, если пациентка согласится. Не будем делать из нее доказательство вашей ошибки.

Последняя фраза звучит почти бережно. Я ненавижу облегчение, которое она вызывает. Мне достаточно услышать, что Лили не придется еще раз лежать под камерой без необходимости, чтобы захотелось верить женщине, которая сейчас закрывает ее единственную отсрочку.

— Что будет после регистрации?

— Сначала проверка союзной записи. Она уже запрошена. Если назначенного союза нет, оценка обстоятельств. Это еще не итоговое решение.

— Ограничения?

— Территориальное присутствие. Самостоятельный перевод жилья и труда за пределы участка закрывается до оценки. Текущее жилье сохраняется, пока есть подтвержденное место и ответственная организация. Медицинская помощь продолжается.

— Ее не увезут сегодня?

Ада убирает руку с экрана.

— Я не могу давать гарантию по решению другого узла. Я могу оформить местное клиническое сопровождение на срок предварительной оценки. Для этого нужен ведущий врач, который остается доступным и не задерживает сведения снова.

— На какой срок?

— До двадцатого марта, до приема оценки. Два дня. Продление требует другого основания.

Два дня. Вчера у меня была ночь. Сегодня мне предлагают измеримый кусок будущего, и я сразу начинаю искать место, куда его положить, чтобы не потерять.

— Вашего доступа достаточно для ведения этого случая? — спрашиваю я.

— Моего достаточно для совместного подтверждения. Для персонального местного сопровождения с сохранением текущей внешней работы нужен ваш уровень. Либо ее направят в ведомственное место наблюдения и будут оценивать там.

Я представляю не здание, а двери машины. У моего страха никогда нет архитектуры, только способ закрывания.

— Вы предлагаете использовать мой допуск.

— Я предлагаю закончить медицинскую часть законно в пределах доступного порядка. Отдельно будет ваш служебный разбор. Вы можете отказаться от ведения. Тогда укажите основание отвода.

Она произносит слово «законно», не глядя на серую папку. У порядка есть узкие щели, но каждая снабжена ручкой с противоположной стороны.

— А если я подпишу сопровождение?

— Действия по этому случаю только с моей сверкой. Любые обращения об изменении места, нагрузки, выдачи — через общую карту. Вы сообщаете новые клинические и обстоятельственные сведения в день получения. Пациентке нельзя обещать исход оценки. Ваше пояснение я передаю на разбор с отметкой, что клиническая ошибка исправлена совместно и дальнейшее ведение контролируется.

— И если не подпишу?

— Отметки о дальнейшем контроле не будет.

Вот и все. Не угрозы Грейс, не перечень наказаний. Ада не говорит, что сделает со мной. Она показывает, какую строку может не дописать. Я должна сама заполнить тишину всем, что уже знаю.

В коридоре скрипит стул. За дверью Лили меняет положение. Я узнаю этот звук и вдруг понимаю, что двадцать минут принадлежат не мне. Она платит за них, сидя там.

— Условие местного сопровождения я объясню ей до подписи, — говорю я.

— Разумеется. Она подтверждает получение разъяснения. Медицинское согласие на осмотр отдельно.

— И отказ от осмотра не будет называться отказом от всего ведения?

— Если откажется, запишем, от какой части. Но реестр по уже имеющимся данным мы завершим сегодня.

Я смотрю на пустой итоговый лист. Для каждого выбора есть отдельная клетка. Только общего выбора — уйти из этой комнаты и остаться собой — на листе не предусмотрено.

В девять тридцать восемь я приглашаю Грейс. Ада убирает служебный разбор под свою папку. Не прячет, просто освобождает поверхность. Моя вина становится внутренним документом, и от этого стол начинает выглядеть как обычный врачебный стол.

Лили входит ровно в девять сорок. Куртка застегнута неправильно: одна кнопка пропущена. Я успеваю заметить и удерживаю руку на своем колене. Она не просила меня поправлять одежду.

— Я сама пришла, — говорит она прежде приветствия.

— Да, — отвечаю я.

Ада называет свое имя и должность. Лили садится, не снимая куртки. Грейс занимает место возле стены, оставляя проход к двери свободным.

— Мы посмотрели сохраненное исследование, — говорит Ада. — Оно подтверждает предварительное заключение врача. Я объясню, какие сведения сегодня будут внесены и что вам предлагают на ближайшие два дня. Сначала ваше состояние. Как провели ночь?

— Спала.

— Тошнота, боль, кровотечение?

Лили отвечает коротко. Ночью без нового ухудшения, утром немного поела. Слова про еду она произносит, глядя на меня, словно возвращает мне вчерашний вопрос без обвинения.

— Нужно ли вам сейчас что-нибудь, прежде чем продолжим? — спрашивает Ада.

— Сказать.

— Слушаю.

Лили расстегивает верхнюю кнопку. Под ней в ткани влажный след. Она пришла рано, долго сидела в теплой куртке.

— Я видела экран. Там было видно. Я не говорила, что плохо видно.

Ада переводит взгляд на меня, затем снова на нее.

— Ваше понимание записываем отдельно. Вы не отвечаете за техническое пояснение врача.

— И я не просила писать, что ничего нет.

— В заключении не написано, что ничего нет.

— Я не знаю, что там написано. Мне не показывали все вместе.

Это правда. Я показывала Лили каждую маленькую часть, которую хотела согласовать, и оставляла за собой соединение. Части были честными. Целое принадлежало мне.

— Покажу, — говорю я.

На экране медицинское заключение. Я разворачиваю его так, чтобы видеть могли обе. Читаю вслух, убирая слова, которые пришлось бы объяснять дважды, затем показываю сам текст, чтобы мое упрощение не стало еще одной заменой. Лили слушает неподвижно. При сроке кладет руку на живот, но быстро убирает, когда замечает мой взгляд.

— Здесь написано, что развивается, — говорит она.

— Да.

— Это не значит, что обязательно все будет хорошо.

— Не значит.

— Но сейчас так.

— По сохраненному исследованию и нынешним сведениям — так. Сегодня отдельно проверим ваше состояние.

Ада не вмешивается. Я хочу считать ее молчание человеческим и понимаю, что даже это уже начинаю использовать как надежду.

Лили позволяет измерить давление и пульс, отвечает на вопросы. Полного повторного исследования сегодня не требуется по текущим жалобам и предыдущим данным; мы объясняем это, и она выбирает ограничиться предложенной оценкой. Грейс дает ей снять куртку за ширмой, хотя для манжеты достаточно рукава. Несколько секунд, в течение которых не надо сидеть перед тремя женщинами в одежде с пропущенной кнопкой. Потом Лили возвращается, держа куртку на коленях.

Медицинская часть проста. Я проверяю числа дважды. Не из недоверия к прибору: пока числа существуют отдельно, я могу заниматься тем, что умею. Все остальное снова превращает мой навык в коридор к чужой власти.

— Вы хотите продолжать беременность? — спрашивает Ада.

— Я уже говорила.

— Я должна услышать от вас сегодня. Решение могло измениться.

Лили смотрит на меня. Я не киваю вместо ответа.

— Хочу, — говорит она. — И хочу жить сама.

Ада записывает обе части. Я вижу, как они оказываются в разных строках: желание относительно беременности и сведения об эмоциональном состоянии. То, что Лили соединила одним дыханием, карта разделяет на разные предметы.

— Сейчас есть намерение причинить себе вред? — спрашивает Ада.

— Нет. Я потому и пришла, что не хочу пропасть.

— Поняла.

— Только не пишите, что я спокойная.

Ада останавливает палец над экраном.

— Что точнее?

— Мне страшно. Я могу отвечать. Это не одно и то же.

Я повторяю эти слова про себя. Мне тоже страшно, и я тоже могу отвечать. Но свои ответы я уже однажды сделала способом спрятать страх туда, где за него заплатит другой человек.

Затем Ада открывает страницу союза. На ней нет имени рядом с Лили. Пустое поле давно существует в ее жизни; сегодня оно впервые становится главным.

— Назначенного союза нет, — говорит Ада. — Сведения в системе верны?

— Верны.

— Обстоятельства беременности потребуют отдельного рассмотрения. Сегодня можно сообщить то, что вы готовы сообщить медицинскому специалисту. Для оценки назначат беседу.

— С кем?

— Сотрудник обстоятельной оценки, затем медицинская часть по необходимости. Первое объяснение до завтра, до двенадцати. Очное рассмотрение двадцатого в десять.

Я поднимаю глаза.

— Первое объяснение уже завтра?

— Срок начинается с регистрации предварительного статуса, — отвечает Ада. — Не с дня последующего рассмотрения.

Два дня, которые я успела мысленно сделать целыми, раскалываются. Завтра до полудня Лили должна дать власти то, чего не дала мне. Я вспоминаю ее слова в дверях комнаты Нелл: пока не спрашивайте.

— Я сейчас не буду, — говорит Лили.

— Запишем, что хотите сообщить в отдельной беседе.

— Не пишите, чего я хочу, если я не сказала. Я сказала, сейчас не буду.

Тихо. Она не повышает голос. У Ады есть время сделать из этого затруднение опроса, у меня — время испугаться, у Грейс — время положить ладонь на свой поднос и не сдвинуть его.

— Хорошо, — говорит Ада. — Сейчас сведения об обстоятельствах не сообщены. Срок объяснен.

Лили не благодарит. Я понимаю, как много сил ей стоит следить за каждым словом, когда надо еще следить за лицами. Врачебный прием, который должен уменьшать количество неизвестного, заставляет ее охранять даже смысл собственного молчания.

Ада рассказывает о временном местном сопровождении. Я слушаю вместе с Лили, хотя уже слышала. Во второй раз формулировки немного другие: сохранение доступной работы и

текущего места, обязательная явка, связь через приемную, ограничения внешнего перевода. Ни слова о моем служебном разборе.

— Мне можно работать сегодня? — спрашивает Лили.

— По согласованной нагрузке, если предприятие подтвердит часы.

— А если не подтвердит?

— Медицинское назначение сохраняется. Рабочее распределение уточняет предприятие.

— У меня от часов еда.

Я открываю вчерашнюю запись. Сегодняшний допуск к нагрузке можно подтвердить совместно. Ада читает описание участка, принимает без горячего и тяжестей, с отмеченными перерывами. Полной порции на весь период в приемной нет. Есть путь запроса замены по состоянию, но это опять путь, а не пища.

— Я внесу, что выдачу надо согласовать с действующими ограничениями, — говорит Ада.

— Это не выдача, — отвечает Лили.

— Нет. Это основание для согласования.

Я жду, что Ада рассердится. Она не сердится. В ее терпении нет мягкости; она будто знает, сколько раз может повторить границу, прежде чем человек начнет принимать ее за вещь, которую невозможно сдвинуть.

— Место у Нелл было на одну ночь, — говорит Лили. — Мне нужно вернуться наверх?

— На сегодняшний срок подтверждено основное размещение при прачечной, — отвечаю я. — Ночлег отдельно надо согласовывать там. Здесь мы не продлеваем чужую комнату.

Мне больно слышать, как правильно я говорю. Вчера мы оставили человеку возможность спать. Сегодня объясняем, в какой строке эта возможность кончается.

— И если все это подпишу, меня не заберут?

Я вижу, как Ада вдыхает перед ответом, и говорю первая:

— Мы оформляем ведение здесь на ближайший срок. Это не гарантия того, что другое решение не придет. Я не могу обещать вам больше.

Лили смотрит долго. Потом переводит взгляд на Аду.

— Она теперь обязана вам рассказывать?

— Врачебные сведения и сведения, которые требуются для оценки случая, — отвечает Ада.

— То, что я ей скажу тоже?

— В пределах этого ведения — да.

Слова остаются между нами. Я могла бы добавить, что любое ведение у нас записывается, что особой тайны и прежде не было. Это не помогло бы Лили понять главное: вчера она выбирала, что сказать мне; сегодня я согласилась быть местом, откуда сказанное идет дальше.

— Я принимаю это условие, чтобы запросить ваше местное сопровождение, — говорю я. — И я должна сказать вам, когда не смогу оставить разговор между нами.

— До того, как спрошу?

— До того, как стану спрашивать о том, что обязана передать.

— Уже не спрашивайте сегодня.

— Не буду.

Ада смотрит на часы. Десять четырнадцать. Назначенный прием давно перестал помещаться в отведенное ему время, но за дверью никто не стучит. Приемные умеют ждать власть гораздо лучше, чем больных.

— Без персонального сопровождения будет другой маршрут, — говорит Ада. — Вы получили объяснение обоих вариантов?

— Тогда здесь я жить не буду, — говорит Лили.

— На время оценки — в ведомственном месте.

— А здесь буду работать, если дадут, и приду сама.

— Да, пока действует местное ведение и выполняются условия.

Лили кладет куртку на соседний стул. Она освобождает руки для подписи так спокойно, будто бумага требует от нее только аккуратности. Я вижу, как ноготь большого пальца цепляется за край планшета.

— Я выбираю здесь, — говорит она. — Только я выбираю из того, что вы оставили.

Ада не отвечает. Грейс просит выдать Лили копию разъяснения с датами, не только короткую отметку. Ее голос почти служебный, но слово «датами» звучит отчетливо. У бумаги должен быть предел, который пациентка может прочитать сама.

Мы не объединяем подписи. Согласие на сегодняшнюю медицинскую оценку уже отдельно, получение разъяснения отдельно, выбор предложенного местного ведения отдельно. Ада просит Лили пересказать время ближайшей явки, чтобы убедиться, что объяснение понято. Лили называет завтрашний срок и двадцатое, затем спрашивает, кто будет у нее завтра.

— Я согласую личную явку, — говорю я. — Если не подтвердят, приемная сообщит, кто принимает. Сегодня получите время связи.

— Не пишите, что вы точно.

— Не напишу.

Моя подпись появляется под медицинским итогом. Я видела это исследование четырнадцатого. Восемнадцатого подтверждаю то, что знала. Четыре дня не сделали строку точнее. Они сделали мое участие в ней тяжелее.

Ада подписывает рядом. Поле реестра меняет цвет, но никакого звука нет. Я ожидала звука. Системы приучили меня к коротким подтверждениям, и тишина кажется неисправностью. Потом внизу появляется время: десять двадцать три.

Лили замечает изменение.

— Теперь они знают?

— Теперь предварительный статус передан, — отвечаю я.

Она прижимает ладони к коленям. Я хочу назвать ее по имени, но она уже знает, что я здесь. В моем голосе не будет ничего, чего нет в строке, и я молчу.

Ада оформляет сопровождение. Подтверждение не приходит сразу: у текущего жилья требуется действующая отметка предприятия. Грейс отправляет короткий запрос, Лили позволяет уточнить только наличие основного места. Мы ждем семь минут. Семь минут, за которые я успеваю вспомнить, что у прачечной есть другое название, номер участка, собственная старшая и женщина, которая сегодня должна заменить горячую работницу. Всем этим людям придется открыть свои экраны из-за записи, которую я наконец отправила.

Ответ подтверждает прежнее место и сегодняшние согласованные часы легкой приемки. Местное ведение принято до очной оценки, без автоматического продления. Запрет смены участка выведен в отдельный пункт. Я читаю его вслух. Лили слушает, затем спрашивает о сестре матери, которая живет в другом секторе.

Я впервые слышу о ней.

— Мне к ней нельзя?

Ада объясняет, что самостоятельный внешний переход на время оценки закрыт; медицинское обращение оформляется отдельно. Лили опускает глаза. Не говорит, собиралась ли идти. Я не спрашиваю. Эта женщина существует где-то за пределами карты, и я только что стала одной из причин, почему до нее нельзя добраться.

— Для срочной помощи ограничения не отменяют обращение, — добавляет Ада.

— Я не про помощь, — говорит Лили. — Она у меня просто есть.

Я смотрю на копию разъяснения. Там достаточно места для маршрута срочного обращения. Для «просто есть» нет даже графы.

Грейс складывает листы так, чтобы даты оказались сверху. Лили убирает их во внутренний карман. Встает, поправляет куртку сама; пропущенную кнопку застегивает последней.

— Я пойду на работу, — говорит она.

— Можно немного посидеть перед выходом, — предлагает Грейс.

— Я хочу пройти сейчас. Пока можно.

Я провожаю ее до двери кабинета. Дальше идет Грейс: ей надо проверить, как отобразился местный выход. Я остаюсь внутри. Я не хочу, чтобы Лили на последнем пороге видела, как врач ищет подтверждения на чужом лице.

Через несколько минут Грейс возвращается.

— Прошла, — говорит она. — Направление к прачечной видно. Отдельного вывода нет.

Ада закрывает медицинскую часть. Теперь на столе снова лежит служебный разбор. В нем уже есть итог сегодняшнего приема. Моей подписи еще нет под пояснением.

— Формулируйте своими словами, — говорит Ада. — Что знали и почему указали другое основание. Не нужно оценивать всю систему.

Соблазн огромен. Написать о страхе, о том, как людей увозят, о Мэтью, о Итану. Сделать свою ложь частью мира, чтобы она стала меньше на его фоне. Но Лили только что заставили подписать конкретные условия. Моя история не должна служить мне более удобным документом, чем ее история служит ей.

Я пишу дату исследования и дату пояснения. Достаточность изображения. Основание задержки: опасение ограничительных последствий для пациентки. Некорректное указание качества было моим решением. Акушерка сохранила истинный результат в установленном местном порядке, не подтверждала ложное основание. Я читаю еще раз и оставляю слово «ложное». В первой версии рука написала «неточное».

Ада просматривает текст.

— Внесите, что сведения исправлены после совместной сверки.

— Они были правильными локально.

— Основание задержки исправлено. Уточните, если хотите.

Я уточняю. Это занимает одну строку. Возможно, никому никогда не понадобится разница. Мне нужна она сейчас, чтобы не приписать своей сегодняшней подписи то, что уже существовало без нее.

— Случай остается под сверкой, — говорит Ада. — Не пытайтесь провести отдельное обращение через домовый уровень. Оно попадет сюда как еще одно расхождение.

— Если будет медицинская необходимость?

— Медицинскую необходимость указывайте. В пределах карты. Не обходите ведение через личные поручения членов семьи.

Я еще ничего не просила у Эвелин. Но Ада уже закрыла дверь, которую я мысленно ощупывала. Ее знание обо мне не обязано быть полным. Достаточно знать, в каком доме я работаю.

— Вам дадут отдельное время для служебного объяснения, — продолжает она. — До того доступ по этому случаю сохранен под совместной сверкой. По другим пациенткам действуют обычные полномочия, пока нет другого распоряжения.

— Грейс придется еще объяснять хранение?

— Если проверке понадобятся сведения. Вы не можете отвечать за нее заранее.

Это тот же смысл, который Лили просила у меня. В устах Ады он превращается в предупреждение. Я впервые ясно вижу, что правильные слова не принадлежат правильным людям. Иначе жить было бы гораздо проще: можно было бы узнавать своих по фразе.

Ада встает. Ее папка тонкая. Она не забирает серую, только копии относящихся к случаю листов. Поворачивается к Грейс, благодарит за подготовку. Затем ко мне:

— Завтра до двенадцати. Не переносите срок без основания. Даже если обстоятельства вам неприятны.

Я не отвечаю, что обстоятельства принадлежат не мне. Она знает. Поэтому и говорит со мной.

После ее ухода кабинет кажется теснее. Стул пациентки стоит под углом, куда я передвинула его утром. Я возвращаю на место. Грейс собирает обложки, разглаживает край бумаги ладонью.

— Я сказала, что решение было мое, — говорю я.

— Я слышала.

— В пояснении тоже.

Она поднимает глаза.

— Это правильно. Только не считайте, что теперь меня не спросят.

— Не считаю.

— И про Лили не считайте, что она согласилась вам доверять все. Она выбрала, где быть два дня.

Я киваю. Мне неприятно, что Грейс снова объясняет мне то, что я только что слышала собственными ушами. Еще неприятнее, что без ее фразы я могла бы к вечеру назвать случившееся сохраненным доверием.

— У Рэйчел завтра материал, — говорит Грейс. — Девять десять по местной записи. Вам не надо быть, процедуру ведет наш врач. Она спросила, не отменится ли из-за проверки.

— Не должна. Проверка относится к этому случаю.

— Тогда я так и передам, с оговоркой, что назначение в силе сейчас.

Рэйчел. Женщина, чьи числа однажды стали причиной вывода раньше, чем я успела сесть напротив. Пока я удерживала Лили, Рэйчел не переставала жить в том же городе. Завтра ей предстоит узнать еще одну часть своего тела в чужом заключении. Я открываю ее запись: подготовка подтверждена, маршрут местный, патологический статус не завершен. Закрываю. Не вношу ничего, чтобы оставить след своего внимания. Иногда я делаю лишнюю запись только затем, чтобы чувствовать, что не забыла человека.

Устройство показывает запрос машины. Домовое время возвращения скорректировано по завершению приема. Ада отметила фактическую продолжительность, поэтому сегодняшние лишние минуты согласованы. Чужая власть способна быть удобной. Это самое опасное в ней: после нескольких дней отказов я испытываю благодарность за правильно указанное время.

В комнате персонала я открываю дневной контейнер. Есть не хочется. Вспоминаю красную кнопку куртки, внутренний карман с датами, ладони на коленях. Ем половину. Грейс приходит за водой, не спрашивает, почему я здесь. Из коридора доносится голос женщины, которая ищет кабинет, не называя болезни. Грейс выходит к ней, и мой завтрак перестает быть главным событием комнаты.

На пути обратно рамка задерживает машину дольше обычного. Водитель получает уточнение, смотрит в экран. Мне кажется, что сейчас проверяют мой допуск. Потом он говорит, что впереди ремонт ворот, и переводит маршрут. Я не верю сразу, хотя вижу рабочих и снятую панель. Травма делает достоверность запоздалой. Мир уже объяснил себя, а я еще приготовлена к его худшему ответу.

В доме общая встреча закончилась. На столе в зимнем саду стоят одинаковые стаканы с крышками, не тронутые гостями. Эвелин ушла в медицинскую комнату. Одри встречает меня у боковой двери и говорит это без вопроса. На ее лице обычная усталость; я не могу по ней узнать ни новостей о сестре, ни того, насколько тяжело прошло утро. Не пытаюсь.

В двенадцать двадцать приходит врач отдельной оценки. На удостоверении: Маргарет Делл. Короткая стрижка, плотный темный костюм под белой открытой накидкой. Она здоровается с Эвелин, затем со мной; мой янтарный знак замечает сразу. С собой у нее только план-

шет и небольшая диагностическая сумка. Никакого представителя программы в комнате нет, но на экране открыт общий семейный план.

— Текущее ведение подготовлено? — спрашивает она.

Я передаю данные. Вес, жалобы, сон, назначения, предыдущие изменения. Ничего из того, что Эвелин сказала без формальной записи, не делаю ее согласием или отказом.

Маргарет задает вопросы. Спокойные, точные. О цикле, самочувствии, предыдущей беременности, восстановлении. Эвелин отвечает сначала мне, потом перестает переводить взгляд. Медицинская часть постепенно становится настоящей, и я чувствую, как тяжесть между лопатками немного отпускает. Я не обязана сама вести все разговоры, чтобы они были услышаны.

— На сегодня абсолютного препятствия к дополнительному предварительному обследованию по этим сведениям не выявлено, — говорит Маргарет. — По началу подготовки решение отдельно, после уточнения показателей и коррекции питания. Вы получили план?

— Получила, — отвечает Эвелин. — Я не хочу начинать подготовку.

Тишина короткая. Маргарет смотрит на экран, словно фраза уже должна была находиться там.

— Вы хотите перенести предварительный этап?

— Я не хочу его начинать.

— Пока?

Эвелин сжимает край пледа. Я смотрю на ее пальцы и понимаю, что вопросы не грубые. Каждый из них допускает вполне человеческий смысл. Из таких допустимых вопросов можно построить лестницу, по которой человека уведут от сказанного им слова.

— Сегодня это мой ответ, — говорит Эвелин. — Если он изменится, я скажу.

Маргарет делает запись. Я вижу: «Не готова к началу этапа, требуется дополнительное разъяснение».

— Она сказала, что не хочет начинать, — произношу я.

Маргарет поднимает глаза. Эвелин отпускает плед.

— Я указываю отсутствие текущей готовности.

— Укажите ее слова рядом.

— Это медицинская оценка.

— Поэтому нельзя заменять желание результатом оценки.

Я слышу собственную резкость. Утром я признала ложь перед Адой. Теперь говорю с другой врачом так, будто выданное мне наказание сделало меня хранительницей точности. Я останавливаюсь, прежде чем прибавить еще что-нибудь.

Эвелин наклоняется вперед.

— Запишите, что я не согласна начать подготовку сегодня. Не потому, что мне мало объяснили. Мне объяснили.

Маргарет смотрит на нее, затем стирает часть строки. Слова Эвелин появляются в поле ответа. Заключение врача остается своим: нужна дальнейшая оценка, медицинские ограничения уточняются. Два разных утверждения могут находиться рядом. Для этого понадобились три женщины и слишком много воздуха между фразами.

— Отправка ответа на семейный уровень будет видна представителю, — говорит Маргарет.

— Я понимаю, — отвечает Эвелин.

Я не знаю, насколько она понимает. Она не знает, насколько понимаю я. Но если сейчас объявить ее понимание недостаточным, мы снова получим право не слушать.

Маргарет разъясняет следующие возможные действия: дополнительная беседа по программе, уточнение обследований, повторная семейная встреча. Она не обещает, что сегодняш-

ний отказ закроет план. Подготовка сегодня не начинается по ее назначению. Это конкретное решение, которое я могу увидеть на экране. Семейное обсуждение не закрыто.

Эвелин подтверждает, что услышала. Не ставит подпись под планом подготовки, подписывает только получение медицинского заключения и своего ответа. Я следю, чтобы эти листы не объединили. С утра я уже научилась, как много разных смыслов может скрываться под просьбой «здесь подтвердите».

Маргарет уходит в час шестнадцать. Эвелин сидит еще несколько минут. Потом спрашивает:

— Вы думаете, я зря сказала?

— Нет.

Ответ слишком быстрый. Она замечает.

— Даже если будет хуже?

Я могла бы ответить про право. У меня весь день в руках документы, которые используются этим словом. Но Эвелин спрашивает не о названии своей возможности. Она спрашивает, выдержит ли ее жизнь то, что она сделала.

— Я не знаю, что будет дальше, — говорю я. — Вы сказали то, что хотели. Я должна была помочь этому остаться вашим ответом.

Эвелин смотрит в открытую дверь зимнего сада. В доме можно видеть комнату, не входя в нее; внизу эту возможность дает только камера.

— Сегодня не надо объяснять ему за меня, — говорит она.

— Не буду, если не потребуются медицинское уточнение.

— Если потребуются, скажите мне до того.

Та же просьба, что утром. Другой голос, другая ткань на коленях, другое место в городе. Я хочу соединить их в уме, сделать двумя сторонами одного образа. Но тогда исчезнет разница между женщиной, которая останется в этом доме, и женщиной, чей выход за пределы участка сегодня закрыт моей подписью.

Я обещаю сообщить Эвелин о запросе, если он придет. Только это.

Вечером приходит ответ прачечной через общую карту: сегодняшние часы Лили сохранены, трудовые ограничения приняты совместно. Завтра требуется отдельное подтверждение после явки. Ночного размещения у Нелл в этой карте нет. Я рада, что не вижу его. раскладная кровать Нелл не должна становиться медицинской собственностью от того, что на ней спала моя пациентка.

Через приемную Лили передает запрос времени завтрашней беседы. Не сообщение о том, как она себя чувствует, не благодарность. Только вопрос, с которым обещали вернуться. Я согласую окно у дома и у Ады. Вейр подтверждает утреннее отсутствие до десяти тридцати, просит итог по служебному разбору, когда будет назначен. Он не спрашивает о Лили. Ее имя уже в другом месте, где мое молчание его не удержит.

Ада подтверждает беседу завтра в девять тридцать. Самой ее не будет в кабинете, подключится к завершению объяснения, если понадобится. Обстоятельные сведения должны быть переданы до двенадцати. Я отправляю в приемную точное время для Лили и отдельно прошу сообщить, что я буду. На этот раз обещание имеет подтвержденную опору, хотя и она не делает его безопасным.

Одри убирает стаканы после дневных гостей. Одна крышка прилипла к подставке, она отделяет ее ногтем. Я держу устройство с открытой картой, потом гашу экран.

— Сестра поняла следующий шаг? — спрашиваю я.

— Поняла. Я тоже. Теперь надо дождаться.

— Если потребуются помощь с записью...

— С записью пока нет.

Она складывает подставки. Я останавливаю предложение там, где оно больше не нужно. Одри не обязана принимать мою помощь только потому, что мне сегодня необходимо быть полезной кому-нибудь без последствий.

Ночью домашний диагност лежит на обычном месте. Я беру его, держу в ладони, кладу обратно. Сегодняшний отказ от лишней проверки не похож на вчерашний. Вчера я пыталась освободить несколько минут. Сегодня не хочу еще одной строки, которая объявит меня чистой.

На столе копия моего пояснения. Я читаю слово «ложное» и не исправляю даже в личных заметках. Рядом подтверждение сопровождения. В нем имя Лили, мое имя, имя Ады, два дня и время явки. Три женщины соединены строкой, которую нельзя назвать ни дружбой, ни спасением. Но завтра дверь кабинета пока откроется для Лили снаружи, и ей не потребуется ждать, чтобы ее привели.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.